

АНАТОЛИЙ
АЛЕКСИН

на кларнете

Мой брат играет



Анатолий Алексин



● ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ ●

Издательство „Детская литература“
Москва 1968

P 2
A 48

Рисунки Л. Токмакова

ОБ АВТОРЕ ЭТОЙ КНИГИ

Анатолий Георгиевич Алексин родился в 1924 году в Москве, в семье старого большевика, ветерана революции. Печататься начал рано, еще будучи школьником, в журнале «Пионер» и в газете «Пионерская правда». В годы Великой Отечественной войны был ответственным секретарем газеты «Крепость обороны».

В 1950 году Анатолий Алексин окончил институт, и в том же году вышла его первая книга — повесть для детей. С тех пор повести А. Алексина, адресованные юным читателям («Саша и Шура», «Необычайные похождения Севы Котлова», «Тридцать один день», «Говорит седьмой этаж!», «Коля пишет Оле, Оля пишет Коле», «В Стране Вечных Каникул»), выдержали много изданий на русском языке, переведены почти на все языки братских союзных республик и неоднократно издавались за рубежом.

Для юношества и для взрослых читателей Анатолий Алексин тоже написал немало повестей и рассказов, которые печатались в журналах, издавались отдельными сборниками: «Два почерка», «А тем временем где-то...», «Записки Эльвиры», «Мой брат играет на кларнете», «Поздний ребенок»...

Анатолий Алексин — автор многих публицистических статей, очерков, сценариев художественных и документальных фильмов. Он избран вице-президентом Ассоциации деятелей литературы и искусства для детей.

В эту книгу вошли произведения, которые обращены к читателям, готовящимся переступить порог школы и выйти на дорогу самостоятельной жизни.

ДЯДЯ ЛЁНЯ-
НОЛЬ-ОДИН

МАТЬ

ИВАН

ОТЕЦ

ЛЮДМИЛА



Меня ждали шестнадцать лет...

Ужасно быть поздним ребенком. Я-то уж знаю! Ранние дети появляются быстро, сами собой, как отметки в дневнике, если ты пошел в школу. А позднего ребенка ждут не дождутся и, когда наконец дожидаются, начинают проявлять такую любовь, такое внимание, что ему хочется сбежать на край света, а то еще и подальше.

Родители ему говорят: «Мы тебя ждали! Так ждали!..», будто он задержался в кино или на улице.

Я — поздний ребенок. Мои родители сразу хотели иметь мальчишку, а заимели Людмилу... Это моя сестра. Все втроем, вместе с Людмилой, они мечтали, чтоб я родился. И вот через шестнадцать лет мечта их сбылась! Поздновато, конечно. Но что же я мог поделать?

Я не помню, с какого возраста я себя помню. Но в ту пору, с которой помню, я часто, казалось, слышал: «Ты — сюрприз! Ты — драгоценный подарок!» Теперь мои родители стесняются громких фраз. Может быть, и раньше они таких точно слов не говорили. Но какие-то вроде этих... Я стал драгоценным подарком, как чашка, которая нарядная и чистая стоит за стеклом, но из которой никогда не пьют чай.

Меня берегут! Конечно, каждый по-своему, потому что у каждого взрослого в нашей семье свой характер.

Вот, например, если я собираюсь куда-нибудь в лыжный поход, мне запрещают все трое. Но запрещают по-разному.

Первым, конечно, отец. Он — огромный мужчина. Похож на Хемингуэя, который висит над столом у Людмилы. Только без бороды. Но такой же седой и в морщинах.

В жизни ему приходилось трудно, и поэтому он хочет, чтобы я от всего получал удовольствие. Нет, он не откажет впрямую: он попытается, чтоб и это мне было приятно. Даже отказ!

— По долинам и по взгорьям... — пропоет он так, что будет слышно внизу, во дворе: у отца громкий, раскатистый голос. И он любит цитировать песни. Не стихи, не пословицы, а именно песни. — В движенье мельник жизнь ведет, в движенье!..

Отец обязательно пропоет что-нибудь на подходящую тему. В эти минуты, мне кажется, он усиленно соображает: придумывает, как бы не огорчить меня своим отказом, а, наоборот, доставить мне удовольствие. От напряжения лицо его становится красным. Краска ползет к ушам, заливая всю шею. Из-за белых волос это особенно заметно.

Он говорит так громко, будто объявляет со сцены:

— А я хотел пойти с тобой завтра в кино. Ты ведь тоже хотел?

Я соглашаюсь. Хотя меня гораздо больше тянет в лыжный поход. Я не спорю с отцом. Бесполезно: я — поздний ребенок, меня берегут.

— Хочешь, любое, мой сын, выбирай! — поет отец громким голосом хана Кончака из оперы «Князь Игорь». Иногда он переиначивает слова арий и песен по-своему, чтобы они подходили: — Любое, мой сын, выбирай!.. Но раз ты хочешь идти в кино, я ликую!..

Он долго еще ликует. Так, что слышно внизу, на улице.

По правде сказать, не только отец — все в нашем доме говорят громко, потому что мама не очень хорошо слышит. Это случилось, когда я родился. Значит, поздние дети, которых так ждут, приносят не только радость... Мне не сказали, что это из-за меня, чтобы не огорчать. Но я-то уж знаю! Однажды я слышал, как доктор сказал: «Последствия родов. Вряд ли пройдет». Уж лучше бы я не родился!

А сама мама говорит очень тихо. Иногда она тоже шутит, но с какой-то грустной улыбкой. Что бы у нас ни случилось, она всегда считает, что это к добру. И не поймешь, действительно ли она так считает.

— Это даже хорошо,— говорит она,— что я многое пропускаю мимо ушей: мало ли говорят ерунды!

«Это даже хорошо...» — мама часто так начинает.

— Это даже хорошо, что ты хочешь в лыжный поход: значит, ты не боишься!

Но потом она обязательно отыщет причину, по которой мне лучше остаться дома: я — поздний ребенок, меня берегут.

Бережет и Людмила... Она архитектор. «Мастер четких линий» — называет ее отец. И говорит моя сестра четко и прямо: она уж не станет переиначивать арии.

— Если бы ты всерьез занимался спортом и хорошо катался, я бы тебя поддержала,— скажет она.— А так — не могу.

Но если я даже научусь кататься, как мастер спорта или чемпион, они все равно найдут причину, чтобы меня не пустить. Это уж факт.

Когда в доме у нас происходит что-нибудь неприятное, от меня все скрывают. Я сразу чувствую, а мне говорят: «Ты — ребенок! Ты этого не поймешь». Они ждали ребенка, и им приятно, что он у них есть. И мне было бы очень приятно, что им так приятно, если бы этим ребенком был кто-нибудь другой, а не я.

Подслушивать я не люблю. И никогда бы не стал. Но раз от меня что-то скрывают, а я в этом деле, может быть, даже могу помочь, я должен подслушать. Тем более, что отец и по секрету всегда говорит так громко, что хочешь не хочешь, а все равно будешь знать.

Однажды я услышал такой разговор. Секретный... Что говорила мама, я не мог разобрать, а отец запел ей в ответ из «Евгения Онегина»:

— Привычка свыше нам дана...

Я не так уж хорошо разбираюсь в музыке, чтобы сразу угадывать, что из какой оперы. Но ведь даже у каждого знаменитого певца есть свой особый репертуар, к которому можно привыкнуть.

— Привычка свыше нам дана...— повторил отец. И добавил: — После стольких лет? На другую работу? Нет, не могу!

Потом что-то сказала мама. Потом отец снова запел, но уже из Девятой симфонии Бетховена. Это — странная симфония: в ней поют.

— О бра-а-тья, довольно печали! — пропел отец. И добавил одну фразу обыкновенно, по-человечески: — Двести двадцать на сто — это еще не смертельно.

Я давно уже заметил, что люблю встречать на улице старых людей. Чем старей человек, тем больше я радуюсь. «Значит, можно долго, очень долго прожить на свете!» — думаю я.

Однажды я прочитал в журнале, что в одном горном селе пять человек уже дотянули до ста тридцати лет. И продолжают жить дальше... Я всем показывал эту заметку.

— Так то же в горах! — говорили мне. — А ты живешь на Третьей машиностроительной улице.

Мы действительно живем на улице с таким длинным названием.

Когда в газетах печатают сообщения в черных рамках, я всегда их читаю. Особенно мне интересно, сколько лет было тому, кто умер. Или, как пишут, на каком «году жизни скончался». Если человеку было лет восемьдесят или девяносто, мне бывает приятно. Не потому, конечно, что умер, а потому, что удалось человеку так много прожить.

Другие ребята об этом не думают. У них молодые родители...

Особенно я всегда волнуюсь за маму. Ведь она плохо слышит.

Если мама где-нибудь хоть ненадолго задерживается, я все время выглядываю в окно, которое выходит на улицу, потом спускаюсь вниз и хожу взад-вперед возле подъезда. Я воображаю себе всякие несчастные случаи, уличные катастрофы. Руки у меня становятся мокрыми, и я забываю здороваться со знакомыми и соседями.

— Это даже хорошо, что я плохо слышу, — говорит мама. — Иначе бы ты меня не встречал!

Я хватаю мамину сумку.

— Тебе нельзя таскать тяжести! — говорит она.

Ей, значит, можно, а мне нельзя. Еще бы: ведь я же ребенок — не подниму, не пойму, не смогу!..

Уже после, дома, мама меня успокаивает:

— Плохой слух обостряет внимание. Человек становится зорче! Спроси у любого врача. И не волнуйся. Тебе волноваться нельзя!

Почему мне нельзя волноваться?..

В тот день, когда я подслушал, мама почти шептала: мне ведь нельзя волноваться. Хорошо, что отец тихо говорить не умеет! Это мне помогло,

Когда разговор их окончился, отец вошел в комнату, где я нагнулся или, как пишут, склонился над учебником, который мне в тот день был совсем не нужен.

— О радость! Я знал, я чувствовал заранее... — пропел отец из «Руслана и Людмилы». — Мой сын делает уроки!..

— Это даже хорошо, что композиторы, которых ты исполняешь, давно уже скончались. — сказала мама.

— Почему? — удивился отец.

— Они бы тебя растерзали! А я не хочу остаться вдовой. Не хочу!

Последние слова она сказала совсем без улыбки. И я испугался. Теперь за отца.

В тот же вечер я спустился тайком к Леониду Миropyчу.

Леонид Мironыч живет под нами, на втором этаже. Он врач. Правда, зубной. Но об этом все у нас в доме забыли и вызывают его к себе при любой болезни. А дом наш огромный, целых семь этажей. Всегда есть больные: у кого сердце, у кого грипп, у кого воспаление легких. И все обращаются к дяде Лёне. У него есть прозвище: «Дядя Лёня — ноль-один». Вообще-то по телефону «ноль-один» вызывают не «скорую помощь», а пожарную команду. Но дяде Лёне дали такое именно прозвище...

Он очень добрый. И даже застенчивый. «Видите ли, я ведь только дантист...» — всегда начинает он. «Дантист» — это значит попросту зубной врач или техник. Но дядя Лёня всегда называет себя этим красивым словом. А в остальном он очень скромный и даже застенчивый...

Меня дядя Лёня встретил в женском фартуке и со сковородкой в руке. На сковородке шипела яичница. Раньше мне казалось, что дядя Лёня слишком много думает о еде: всегда я встречаю его с промасленными свертками, которые он держит в протянутой руке. Но мама мне объяснила, что все холостяки очень много возятся с продуктами, а едят гораздо меньше женатых: просто они не способны вести хозяйство. Ну, как некоторые ученики, которые часами возятся дома с тетрадями и учебниками, корпят над ними, зубрят, а отвечают на двойки или на тройки, потому что у них нет способностей.

— А-а, тетка! — воскликнул дядя Лёня — ноль-один как-то растерянно и даже испуганно.

Меня тоже зовут Леонидом. Или, вернее, Ленькой... И у меня тоже есть прозвище. Только оно хуже, чем у дяди Лёни. Неблагозвучное! Даже не хочется вспоминать.

— Ты один? — спросил дядя Лёня все так же испуганно. И схватил сковородку другой рукой: она, наверно, была горячая.

— Я... один. Я по делу.

Но дядя Лёня выглянул на лестницу, будто за моей спиной мог кто-то скрываться. Потом он пригласил меня в комнату. На подоконниках почему-то стояла посуда, а в буфете, за стеклом, где обычно бывает посуда, почему-то стояли книги. Я решил, что ни за что на свете не буду холостяком.

— Дядя Лёня, я на минутку.

— Кушать не хочешь? У меня есть яичница. Глазунья: два глаза. Можно с тобой поделиться...

Я понял: он по доброте своей предлагает мне то, что достается ему с наибольшим трудом — еду, яичницу. Я отказался.

— Мне надо сказать только два слова. Мне надо узнать... Ну, посоветоваться. Насчет отца. Я услышал сегодня, что у него двести двадцать на сто...

Так примерно начал я разговор, сделав вид, будто знаю, что это такое: «двести двадцать на сто».

— Видишь ли, — сказал дядя Лёня, — я ведь только зубной врач...

«Всегда называет себя дантистом, — подумал я, — а тут — зубной врач... Боится, я не пойму, что такое дантист. Считает меня кретином! Или, вернее сказать, ребенком. Это для взрослых одно и то же».

— Скажите, дядя Лёня, это опасно: двести двадцать на сто? Вы ведь знаете!..

Он стянул очки с носа и засунул концы пластмассовых дужек в рот. Так ему всегда удобнее думать.

— Как бы это тебе объяснить? — проговорил он не очень внятно, потому что дужки были во рту.

Почему мне нужно все объяснять? А просто сказать нельзя?

— Как бы это тебе объяснить, чтобы ты меня понял?

Ну конечно, ведь я же ребенок, то есть кретин!

— Отец выглядит абсолютно здоровым! — сказал я. — А когда смеется, то становится даже румяным...

— Я бы с удовольствием к вам зашел и посмотрел твоего отца, но лучше уж вызвать специалиста. Тем более, что Людмила не приглашала. Мне самому неудобно...

— Но это опасно?

— Как бы тебе объяснить... Это высокое кровяное давление.

Его надо сбить! Врачи выпишут лекарства: порошки, уколы, таблетки. Но главное — положительные эмоции! Пони-маешь?

— Еще бы! — соврал я. И подумал: «Хорошо бы, чтоб он мне не поверил. И объяснил».

Он не поверил. Или пропустил мои слова мимо ушей.

— Положительные эмоции — это значит радость, веселье, надежда... Ведь главное — нервы. Им нужно питание.

Я посмотрел на яичницу. Он улыбнулся:

— Да, да! Им нужен витамин хорошего настроения. Они это любят, нервы. Отец работает на строительстве? Всю жизнь он на стройках! Это уже, прости меня, не для него: сроки, задания, планы. И еще... Может, его что-нибудь мучает, угнетает? Это надо решительно снять!

Я подумал немного.

— Нет, его ничего не мучает. У нас дома все хорошо. И на работе его уважают. Ему будет трудно уйти... Привычка выше нам дана. Сами знаете!

— Может быть, ты и прав. А Людмила что думает? В смысле его работы.

— Не знаю. Я у нее не спрашивал. Но его не угнетает... никто! Я уверен.

— Что ж, хорошо. Это важно! Если Людмила захочет, я зайду, посмотрю...

Теперь я понял, почему он выглядывал на лестницу: не хотел, чтоб Людмила увидела его в женском фартуке.

Они вместе учились в школе. Их считали женихом и невестой. Это было бы так хорошо, если б они поженились: Людмила осталась бы в том же доме, только спустилась бы на этаж. А у него книги не стояли бы там, где должна быть посуда...

Но Людмила не хочет. Она вообще не думает о замужестве: ее это не интересует. Она у нас «мастер четких линий» и думает только о своих чертежах.

Я однажды сказал:

— Вот если бы ты вышла замуж за дядю Леню.

— Две пары очков в одной молодой семье — это слишком много, — ответила мне она. Пошутила. Хотя вообще-то шутить не любит.

А мама с отцом промолчали. И посмотрели на меня нежно и с жалостью, как на любимого дурачка: ты, дескать, мал еще, не понимаешь!..

Странное дело: не заботятся о будущем дочери! Наверно, потому, что она — ранний ребенок. Но разве она виновата? Какая несправедливость! Все втроем они заботятся обо мне. Просто уж нету сил.

3

Я слышал, как некоторые взрослые говорят: «Я сумасшедшая мать! Я сумасшедший отец!..» И всегда как бы гордятся своим сумасшествием.

Мои родители непохожи на этих людей. Они абсолютно нормальные. И даже стесняются того, что прямо-таки дрожат за каждый мой шаг. Поэтому они дрожат как бы в шутку, а не всерьез. И поэтому, думаю я, отец кажется иногда грубоватым. Просто родители слишком долго ждали меня. Вот в чем все дело! Хотя мне от этого, конечно, ничуть не легче.

О себе они не заботятся никогда. Даже удивительно: про меня всё знают — что вредно, чего нельзя. Даже полезное может им показаться вредным. А на себя словно рукой махнули.

«Больше я этого не допущу!.. Начну с отца. Буду все время подбрасывать ему положительные эмоции». С таким твердым решением я вернулся домой.

Раньше меня упрекали за то, что я часто бываю мрачным. Мама молча и внимательно заглядывала мне в глаза. Отец напевал: «Что ты, молодец, невесел? Что ты нынче нос повесил?», «О чем задумался, детина?..» Или что-нибудь вроде этого.

А Людмила спрашивала в упор:

— Ты нас готовишь к чему-то плохому? Что-то случилось в школе? А может быть, во дворе? Скажи прямо. Прямота многое искупает.

Сама прямая, «мастер четких линий», Людмила от всех кругом требует точности и прямоты.

А я, как правило, ни к чему особенному их не готовлю... Просто мне хочется попросить что-нибудь такое, вместо чего, я уверен, мне предложат все сокровища мира: музей, цирк или даже театр. А мне хочется поехать с ребятами за город, на озеро Бездонку, где все загорают и плавают, а не только с утра до вечера тонут, как считают мои домашние.

Но в тот день я всем улыбался. И без конца повторял: «Не волнуйся, папа! Не беспокойся!.. Прошу тебя не волноваться!»

Мама молча и пристально заглядывала мне в глаза.

— О чем волнуешься, детина? — привычно переиначил слова отец, хотя никакого волнения на моем лице не было: я улыбался.

— Ты нас к чему-то готовишь? — в упор спросила Людмила.

Найти положительные эмоции в доме, где все тебя обожают, не так легко, как думает дядя Лёня.

Отец любит слушать радио, особенно музыкальные передачи. Но ему редко удается насладиться вдоволь: то я делаю уроки, то читаю (тут уж все ходят на цыпочках!), то Людмила выполняет срочную работу, готовится к каким-нибудь зачетам. Она всегда учится: или на курсах, или в университете культуры, или еще где-нибудь.

Но в тот вечер я сел возле приемника, стал настраивать его на концерты и делал вид, что сам получаю огромное удовольствие.

— Я знал, что в конце концов музыка тебя проймет. Ты ведь мой сын!

— Твой, твой! — сказал я отцу.

Он улыбнулся счастливой и гордой улыбкой: дескать, долго мы тебя ждали, но такого стоило подождать!..

Положительные эмоции прибывали с каждой минутой!

Когда пришла мама, я включил приемник погромче, чтобы и она могла насладиться музыкой.

Из соседней квартиры постучали нам в стену.

В нашем доме толстые стены и высоченные потолки. Мама как-то сказала:

— Это хорошо, что наш дом строился в пору, когда архитектура еще не достигла огромных успехов. Теперь ведь стены рассчитаны на таких вот, как я. Которые плохо слышат...

Мама часто подшучивает над своим, как говорят, «физическим недостатком».

— Новая архитектура служит не разъединению, а объединению семей, живущих в разных квартирах! — сказал отец.

— При старых нормах многие остались бы в старых квартирах, — спокойно объяснила Людмила.

— Только слышно за стенкою где-то... — тихо пропел отец.

За нашими стенами трудно что-нибудь уловить. Но сосед, я уверен, специально прикладывает ухо, чтобы при первом же удобном случае постучать. Если мы громко разговариваем, чтобы слышала мама, он начинает всегда возмущаться. А тут ему

музыка помешала! Бывают же люди, которым все на свете мешает. Особенно, если кто-нибудь рядом получает положительные эмоции.

— На сегодня закончим,— сказал отец.— Иди погуляй. Тебе надо побольше дышать свежим воздухом!

Почему именно мне надо побольше дышать? Как будто у меня двести двадцать на сто! Но я решил не уничтожать положительных эмоций и не стал спорить с отцом. Я пошел дышать воздухом.

Вскоре во двор вышел Костик. Он длиннее меня на целых полголовы, хотя учится со мной в одном классе. Не подумайте, что он огромного роста. Просто я невысокий. Может быть, поздние дети медленно физически развиваются? А Костик — не поздний, он самый обыкновенный. И родители у него молодые. Но очень противные! Это его отец стучит в стенку.

Костик имеет такую привычку: если увидит ребят, которые во что-нибудь играют или о чем-нибудь договариваются, обязательно подкрадется и крикнет: «А-а, попались, попались! Всё видел, всё видел! Всё слышал, всё слышал!» И отойдет. Хотя никто его не просил смотреть и слушать не приглашали.

Мне давно хотелось надавать Костику по физиономии. Ударить три раза и тихо сказать: «Это за папу! Это за маму! Это за тебя самого!», как говорят маленьким, которые плохо едят.

Костик давно уж напрашивался на это. Я его предупреждал: «Не напрашивайся! Не напрашивайся!..» А он продолжал.

Но напрашивался он всегда как-то не до конца. Не было еще настоящего повода надавать ему и тихо сказать: «За папу! За маму!..» Ну, и так далее. А без повода бить как-то неинтересно.

Костик вышел во двор — и сразу ко мне:

— А-а, попались! Всё слышал, всё слышал: как стукнул вас папа, так сразу радио выключили. Испугались! Больше орать не будете. Что у вас там — какая-нибудь глухая тетеря?

— Как ты сказал? — спросил я Костику.

И, испугавшись, что он повторит свои слова громче, что все их услышат, быстро смазал его по скуле. Мне пришлось подняться на цыпочки, потому что Костик выше меня на целых полголовы.

Он тут же удрал обратно в подъезд...

Я, наверно, очень разволновался и все сделал не так, как хотел: ударил его не три раза, а только один. И не стал приго-

варивать: «За папу! За маму!..» Очень разволновался! Поэтому всё забыл. Не ожидал, что он скажет эти слова...

«Не бить же его сначала?» — подумал я. И не стал догонять. Минут через десять Людмила высунулась в окно:

— Леня, иди домой!

Я пошел... Уже с первого этажа я услышал, как на третьем шумит папа Костика:

— Он избил его! Он избил его!.. Хулиган! Призовите его к порядку. Или я сам... Недаром его зовут... Недаром ему дали это прозвище!.. — И он выкрикнул мое прозвище. — Заслужил!

Я не стал подниматься, пока не услышал, что папа Костика хлопнул дверью.

Тогда я поднялся.

Дома все были взбудоражены. Мама поглядывала на отца. Я знал этот взгляд, он как бы просил отца: «Помни, что мы его долго ждали! Не кричи на него! Разберись...» Отец же поглядывал на маму и словно просил о том же. Они всегда обмениваются такими взглядами, когда я в чем-нибудь виноват. Будто сдерживают друг друга.

— За что ты его избил? — спросила Людмила.

— Так... Ни за что. Я давно хотел.

— Ты хотел?! — Людмила нервно чертила что-то на огромном листе. У нее такая привычка: когда идет неприятный разговор, не прекращать работу, водить карандашом или рейсфедером по бумаге.

Я молчал.

— За что ж ты его избил? Ведь была же, наверно, причина? Скажи нам. Прямота многое искупает!

— Нет... Просто так. Он очень противный.

— Мало ли противных людей на свете! Ты всех будешь бить?

Я пожал плечами.

— Не знаю.

— Если была бы причина, я, возможно, могла бы понять... Любит она рассуждать: «Если бы было, тогда бы...»

— Не было. Нет!..

— Жестокость вообще отвратительна, — не прекращая чертить, сказала Людмила. — А беспричинная жестокость безнравственной вдвое. Нет, в тысячу раз!

Подсчитала!..

Если по-честному говорить, гордостью нашей семьи должна быть Людмила. Она кандидат наук, работает в архитектурной мастерской. А гордятся все в доме мною. Это несправедливо. Но что можно поделать?

Чтобы замаскировать эту несправедливость, отец хвалит меня как бы в шутку. А иногда грубовато. Из-за его грубоватости и появилось на свет мое прозвище, которое я до сих пор не решался произнести.

Даже за тройки меня не ругают.

— Вот ведь способный какой, мерзавец! Совсем вчера не учил уроков, у телевизора просидел, а на тройку ответил! — Свои восторги отец обязательно закончит словами из песни. Глядя на меня, он пропоет на какой-то свой собственный любимый мотив: — И в воде он не утонет, и в огне он не сгорит!..

Или что-нибудь вроде этого.

Частенько отец просит меня напомнить ему содержание кинокартины или книги, которую мы оба читали.

— Память какую имеет, мерзавец! Все помнит, как будто вчера читал... — И радостно восклицает: — Я вот все позабыл, все перепутал!

Мне кажется, отец просто счастлив, что забывает и путает.

На следующий день после того, как я смазал по морде Костику, отец не выдержал и сказал:

— Драться, конечно, плохо. А все-таки смелый какой, мерзавец! Ниже на две головы, а пошел в наступление, решился! Ниже на целых две головы!..

И потом он еще долго не мог успокоиться, все повторял:

— Смелый, мерзавец!..

Слово «мерзавец» он всегда произносит ласково, даже нежно. Но мне от этого, конечно, не легче, потому что это самое слово и стало давно моим прозвищем. «Ленька-мерзавец» — зовут меня во дворе.

Вот до чего доводит любовь!

И вообще мне вовсе не нравится, что дома мною все восхищаются. Трудно, что ли, ответить на тройку? Или запомнить содержание книги? Кретин я, что ли, какой-то? И почему надо радоваться, что я «на целых две головы» ниже Костики? (Хотя, на самом деле, я ниже всего на полголовы.)

Отец и мама, мне кажется, очень довольны, что я не высокий. Они бы хотели, наверно, чтоб я и вовсе не рос: они-то ведь

ждали ребенка и хотят, чтоб я на всю жизнь им остался. Но я не хочу!

Как-то я услышал по радио, что если в семье несколько детей, нехорошо одного из них выделять. С воспитательной точки зрения! Я сказал об этом родителям.

— Другой бы гордился, что его выделяют, а этот заботится о сестре! — воскликнул отец. — Добрый, мерзавец!..

— Это даже хорошо, что ты сделал нам замечание, — согласилась мама. — Значит, любовь и забота не сделали тебя эгоистом. Мы очень рады.

Вот вам и всё! Они очень рады. А я?..

И то, что Людмила до сих пор не выходит замуж, мне кажется, не волнует моих родителей. По крайней мере, когда я сказал о зубном враче дяде Лене, они промолчали. «Поддержали бы меня в тот момент, — думал я много раз, — и, может быть, наша Людмила жила бы сейчас на втором этаже, прямо под нами. И мы ходили бы в гости друг к другу! У нее была бы семья... В книжках пишут, что каждая женщина стремится иметь семью. Может, Людмила этого не понимает? И родители не объяснят! Потому что я заслонил Людмилу, я, поздний ребенок. А это несправедливо...»

За драку отец хвалил меня, когда Людмила еще не вернулась с работы. Сестру у нас в доме побаиваются. Потому что она, как говорит отец, «человек без слабостей».

Но одна слабость у сестры все же есть. Это — я! Что делаешь? Снова я...

Нет, Людмила не станет хвалить меня за тройки или за драку. Она сделает замечание, отчитает. А дня через два или три принесет мне подарок, словно бы извинится. Так бывает почти всегда.

И на этот раз так получилось.

Вернувшись с работы, сестра меня будто не замечала. Когда она сердится на меня, у нее сразу находится тысяча дел: чертит, стирает, переписывает какие-то лекции. И всем этим она занимается, чтоб не встречаться глазами, не разговаривать.

На этот раз она тоже целый вечер работала. А перед сном вдруг сказала:

— Завтра не вздумай долго валяться в постели!

— Но ведь завтра же воскресенье, — тихо ответил я.

— Мы идем с тобой в театр.

Она сказала так, будто собиралась отправить меня в милицию.

— Хорошо, — сказал я. — Пойдем.

Благодарить ее в такие минуты нельзя.

Не знаю, как я дождался утра! Я даже не спросил Людмилу, какую пьесу мы будем смотреть. Это мне все равно. Важно, что я иду в театр!

Взрослые начинают выпрашивать: «Что за спектакль? А не потеряем ли мы времени даром? Что о нем пишут? Что говорят? Интересно ли это?» Им можно так кочевряжиться, потому что они ходят когда пожелают и куда пожелают. Просто избаловались. А мама с папой еще не хотят, чтоб я рос, чтоб стал взрослым!..

Наконец мы пошли. Отец решил проводить нас до театра. Он держал меня за руку. Он любит вести меня за руку, как раньше, когда я был еще маленьким и он заходил за мной в детский сад. Обычно я вырываю руку (смешно тащить на буксире тринадцатилетнего парня!), и сейчас бы я не позволил, если бы у отца не было двести двадцать на сто. Я не имею права отбирать у него положительные эмоции!

Людмила уже немного смягчилась, но еще окончательно не простила меня. Теперь было похоже, что она решила отвести меня не в милицию, как накануне, но все же в место не очень приятное: например, на урок, хотя у всех был день отдыха, воскресенье. По ее строгому виду никак нельзя было угадать, что мы идем в театр.

Я тайком наблюдал за Людмилой.

«Какая же, — думал я, — все-таки несправедливость: Людмила — женщина высокая и, как говорят, «со спортивной фигурой», а я — мужчина маленький, ниже среднего роста. И отец сгибается пополам, чтоб вести меня за руку. Нет, я не хочу отбирать у Людмилы ее фигуру, но пусть и у меня будет не хуже!»

У Людмилы не только фигура спортивная — она и в самом деле занимается спортом: играет в теннис и волейбол. Вообще она, на мой взгляд, интересная. Очки ничуть ей не мешают, а даже чуть-чуть украшают ее: лицо получается строгое, умное. Вот только не знаю, нравятся ли мужчинам строгие и умные лица?

Я видел, что молодые люди, которые шли нам навстречу, почему-то не обращали на Людмилу внимания. Это было обидно. Может быть, они угадывали по лицу сестры, что она не стремится иметь семью, к чему должна стремиться, как я читал, всякая нормальная женщина.

Так я думал, поглядывая тайком на сестру.

Навстречу шли женщины под руку со своими мужьями. Это ведь сразу видно: муж или не муж. Некоторые везли коляски, а мужья их шагали рядом. Или даже сами везли...

Мне хотелось спросить у всех встречных женщин: «Вы кандидат наук? А вы — кандидат?»

Уверен, что никто не ответил бы: «Да». А моя сестра — кандидат. Почему же только она одна шла одна? То есть со мной и с отцом, но это же не считается. Всё потому, что не хочет замуж!

У театра мы встретили каких-то знакомых Людмилы.

— Двадцать лет не виделись! — закричали почти в один голос мужчина и женщина. — Почти двадцать! Мы из пятого «В»! Ты помнишь? Нас потом перевели в новую школу. И мы разлучились. На столько лет! Живем в одном городе — и ни разу не встретились. Непостижимо! А сейчас сразу узнали... Непостижимо! Мы давно поженились. Уже очень давно. Просто не помним себя неженатыми. Непостижимо! Просто не помним...

Можно было подумать, что они поженились еще в пятом классе. Они перебивали друг друга. И готовы были восклицать свое «Непостижимо!» по поводу всего — и хорошего и плохого.

— Это твой сын? — воскликнула женщина. — Копия! Просто одно лицо!.. Это ваш внук? — обратилась она к отцу. — Очень похож на дедушку! Очень... Просто непостижимо! Ну, поздравляем. Прекрасный внук!

«Неужели я выгляжу настолько моложе своего возраста, что меня можно принять за сына Людмилы? — с огорчением подумал я. — Или Людмила выглядит старше? Нет, они знают, сколько ей лет: вместе учились. Значит, дело во мне!»

Но еще больше меня поразило то, что отец промолчал, когда его поздравили с таким замечательным внуком. Он только залился краской так сильно и густо, как не заливался еще никогда: и уши, и шея, и даже затылок (это было видно сквозь белые волосы) — все стало красным.

Я вспомнил слова дяди Лени с нижнего этажа: «Может, его что-нибудь мучает, угнетает?»

А может, отца действительно что-то мучает? И он только вида не подает? Мне казалось, он хотел, чтоб бывшие пятиклассники и дальше принимали меня за сына Людмилы. Да, он хотел... Это мне было ясно.

Я взял сестру за руку и, хоть она еще не совсем простила меня, прижался всем телом к ее руке.

Бывшие пятиклассники, казалось, готовы были вспомнить все, что с ними случилось за последние двадцать лет. Есть ведь такие люди: думают, что всем интересны любая мелочь и чепуха из их жизни, словно они великие композиторы или писатели.

— Мы опоздаем,— сказала Людмила.

— Где вы сидите? Где вы сидите? — опять зашумели мужчина и женщина из пятого «В». — Ах, в десятом ряду? Непостижимо! Мы совсем рядом. Это прекрасно! Познакомим твоего сына со своими дочками. Они уже у нас там, внутри. Сидят чуть ли не со вчерашнего дня. Они тоже в четвертом классе. Двойняшки! Твой ведь в четвертом?

— В четвертом,— ответил я, хоть на самом деле учился в шестом.

— Да, да... — тихо подтвердила сестра. И, мне показалось, посмотрела на меня с благодарностью.

Я уже не отпускал ее руку.

Когда мы вошли в вестибюль, Людмила шепнула:

— Ну уж... называй меня мамой. Раз они так хотят!

Я так и не узнал, какой мы будем смотреть спектакль, пока не купили программу. Потому что все время думал — и в вестибюле, и когда поднимались по лестнице...

— Хочешь в буфет? — каким-то чужим, словно заискивающим голосом спросила меня сестра. Уж лучше б сердилась!

Я согласился... Я люблю получать от театра все удовольствия: попить воды в буфете, съесть пирожное, купить программу и всю ее прочитать, походить по фойе и поглядеть на портреты артистов... И, конечно, посмотреть пьесу. Чуть не забыл!

5

Сестре часто звонят. Если она уходит из дому, то оставляет блокнот и по-особому тщательно очиненный карандаш («Мой инструмент!» — говорит сестра). Она просит нас аккуратно записывать, кто ей звонит, откуда и по какому вопросу.

Выполняя просьбу Людмилы, отец часто повторяет:

— Все по делу! Только по делу! — И напевает из своего любимого «Князя Игоря»: — Ни сна, ни отдыха измученной душе!..

Прежде мне казалось, отец поет от радости, что его дочь такой деловой, такой занятой человек. А теперь я подумал:

«Откуда же радость? Ведь князь Игорь поет эту арию в полонезом плену!.. Правда, отец иногда переиначивает по-своему песни и арии. Но тут, кажется, он ничего не меняет, а поет так же, как временно побежденный князь: грустно, с досадой... Почему я раньше этого не заметил?»

Однажды, дней через десять после того как мы были в театре, раздался странный звонок. Вернее, звонок-то был самый обычный, а разговор сразу начался как-то не так... Мужской голос позвал Людмилу. Всегда ее называют по имени-отчеству. Даже старые люди у нас в доме, которые помнят сестру девочкой, зовут ее, как говорит отец, «не забывая про папу». Я всегда был уверен, что отец этим гордится: если молодую женщину зовут по имени-отчеству — значит, ее уважают! «Или перестали считать молодой? — неожиданно подумал я после театра. — И откуда я взял, что отцу это нравится?..»

Я ответил мужчине, что Людмилы нет дома, и спросил, как всегда, откуда он и что передать.

— А это кто говорит? — спросил он в ответ.

Так никогда и никто не спрашивал. «Называет сестру по имени, интересуется мною, — подумал я. — Интересуется, как те, возле театра... Наверно, тоже какой-нибудь бывший пятиклассник из Людмилиной школы. Конечно!.. Кто же еще может звонить ей без всякого дела?» Мне показалось, мужчина не хочет сказать ничего такого, что нужно было бы записать в Людмилиин блокнот. И захлопнул его.

Я вспомнил, как в театре сестра шепнула: «Называй меня мамой...»

«Сестре приятно, чтобы приятели, которые не видели ее двадцать лет и сами давно уже переженились, думали, что и она тоже замужем... и имеет ребенка», — рассуждал я. Все эти мои размышления продолжались секунду. И, не успев еще ничего решить, я брякнул в трубку:

— Это ее сын...

— Какой сын? — спросил мужской голос.

— Какой?.. — Я ответил: — От первого брака!

Сам не знаю, зачем я это сказал. Должно быть, мне хотелось, чтоб школьный друг Людмилы подумал: «Я женат всего один только раз, а она вон какая: сумела быть в браке целых два раза! А может, и больше... Значит, пользуется успехом!»

Нет, пожалуй, в тот миг я не успел ничего подобного захотеть. Просто не было времени... Но то, о чем я в последнее время мечтал, как-то само собой слетело у меня с языка.

— Спасибо,— сказал мужчина. И сразу ухо мне закололи тонкие, короткие гудки.

«Ну ничего,— думал я.— Ничего не случилось... Несколько раз может выйти замуж только красивая женщина! Значит, я не унижил сестру. А даже наоборот. Пусть ей завидуют! Все правильно. Все прекрасно».

Так я думал до той минуты, пока Людмила не вернулась домой... Она на меня даже не посмотрела. А прямо в пальто прошла в другую комнату, где мама читала книгу. И громко закрыла дверь.

Людмила, всегда такая спокойная и аккуратная, забыла снять в коридоре пальто: случилось что-то ужасное!

Вскоре я узнал, почему так волновалась сестра. Я не хотел подслушивать. Но снова подслушал... Или, вернее сказать, услышал. Людмила, как и мы с отцом, говорит так, чтобы мама не напрягалась. Тут уж и в другой комнате хочешь не хочешь, а все разберешь.

— Я должна с тобой поделиться,— сказала Людмила.— Только ты не волнуйся.

Наверно, мама сразу заволновалась, потому что сестра сказала:

— Нет, нет, ничего особенного!

Мама что-то ответила. Но ее слова оставались в той комнате, я их не слышал.

— Ивану кто-то сказал, что я была замужем. И даже два раза... Что у меня большой сын.

Потом стало тихо: что-то сказала мама. А я в это время успел подумать: «У сестры есть какой-то Иван, которого от меня все скрывают. Ну да, ведь я же ребенок!..»

— В самом факте нет ничего такого...— продолжала Людмила.— Просто сплетня, и все. Или глупая шутка.

Мама что-то спросила.

— Нет, кто именно, не сказал. Но поверил! Унизительно было доказывать... И расспрашивать! Понимаешь?

Следующую фразу мамы я угадал по ответу Людмилы. Мама, наверно, сказала так: «Это даже хорошо: ты сможешь проверить теперь его чувства». Я думаю, она так сказала, потому что сестра ей ответила:

— Это даже хорошо? Не считаю! И не собираюсь проверять его чувства. А вот реакция его была отвратительной: он не сдержался, он мне нагрубил. Он даже кричал... Понимаешь?

Я боялся, что вернется отец... И услышит. А потом шея его,

и затылок, и уши снова заливаются краской, как тогда, возле театра.

Что же я натворил?!

— Если бы он попросил объяснить, я бы могла понять...

Любит сестра рассуждать: если бы да кабы... Как будто нельзя простить!

Что-то сказала мама.

— Нет уж, все кончено!

Что-то сказала мама.

— Почему будет трудно каждый день видеть? У меня будет сознание правоты!

Мне казалось, Людмила нарочно отвечала какими-то жесткими фразами, чтоб не расплакаться. Мне было жалко Людмилу. И в то же время я злился: разве нельзя простить?

Значит, они работают вместе: каждый день видеть!..

— Нет, ни за что! — сказала Людмила. — Можно все попытаться понять, но когда унижают твое достоинство... Да, ты права: это даже хорошо, что он так раскрылся. Я вовремя остановлюсь!

Где она остановится? В каком это смысле? Не выйдет замуж?.. Я должен предотвратить ее остановку! А то ведь она — «мастер четких линий»: как говорит, так и сделает.

Сестра вышла из маминой комнаты. Я усиленно делал уроки...

Пальто уже было у нее на руке: ей стало жарко.

Сестра улыбалась, но фигура у нее была не такой спортивной, как всегда: Людмила чуть-чуть ссутулилась, словно на плечах у нее была тяжесть. Мне опять стало жалко ее... Захотелось помочь.

— Людмила, — сказал я тихо, — я кое-что слышал...

— Ты слышал?

— Не мог же я заткнуть уши! Я хотел убежать на улицу, чтоб не слушать... Но уроки! Сама понимаешь...

— Ты должен был войти в комнату и сказать нам, что слышишь. Это было бы честно.

— Я думал, что ничего не пойму... И поэтому не вошел. Но потом я все-таки понял. А когда понял, что понял, поздно было уже входить.

— Что же ты понял?

— Знаешь, Людмила, когда люди кричат, значит, они волнуются. А если они волнуются, значит, переживают... Ты разве не замечала?

— Какая-то чепуха! — сказала Людмила. Но продолжала слушать.

— Когда волнуются, могут сказать что угодно! Вот мама иногда говорит: «Глаза бы мои на тебя не смотрели!» Это она про меня говорит. Но разве она хочет, чтоб я исчез?

— Это всё? — спросила сестра.

«Это всё?» — так спрашивает наша математичка, когда у доски плетут ерунду. Но сразу не ставит двойку, а, нахмурившись, ждет: может, все же удастся услышать что-то толковое.

И Людмила ждала.

— Раз он кричал, значит, он волновался... А раз волновался, значит, переживает. Ну, а если переживает...

— Это я уже слышала!

Так тоже говорит наша математичка: «Это я уже слышала!» И вслед за тем сразу же ставит двойку.

— Это я уже слышала! — еще раз твердо повторила сестра.

Ясно: поставила двойку.

Ведь она слушала меня, как слушали бы шестиклассника, который пришел сдавать экзамен в институт.

— Ничего ты не понял, — сказала Людмила. — И не мог понять!

Еще бы, ведь я ребенок! Почему она этого не добавила? Забыла, должно быть. Просто забыла.

Людмила пошла в коридор, чтоб повесить пальто.

Я снова склонился над книгой. Но думал совсем о другом. «Я должен помочь ей!» — вот какое я принял решение.

6

Я уже говорил, что если сестра отчитывает меня, то есть портит мне настроение, она дня через два или три обязательно извиняется. Не признается, конечно, в этом, но извиняется: покупает билеты в театр, или берет меня на стадион, где играет в теннис и волейбол, или приносит домой подарок.

В таких случаях подарок она не называет подарком, а говорит мне примерно так:

— Пора тебе уже заняться спортом. Сначала посмотри, как играют другие. Пойдем сегодня на стадион.

Или так:

— С математикой ты не дружишь. Кем же ты хочешь стать в будущем? Разве можно об этом не думать? Испытай свои силы

в художественном творчестве. Для начала хоть в фотографии. Я купила тебе аппарат...

Сестра говорит очень строго: как бы не мирится, а воспитывает меня. Но подарок остается подарком.

Я тоже испортил сестре настроение. Даже хуже: я заставил ее страдать!

И чем больше она храбрилась (например, надевала платье, которого я раньше даже не видел!), тем яснее мне было, что ей сейчас не до платьев.

В тот день, когда я случайно подслушал ее разговор с мамой, уже вечером, перед сном, я не выдержал и сознался:

— Людмила, это я сказал Ивану, что у тебя есть сын от первого брака. По телефону... Он позвонил и спрашивает: «Это кто говорит?» На меня вдруг что-то такое нашло непонятное... Я и ответил: «Это ее сын». Он говорит: «Какой сын?» А я: «От первого брака!..» Пошутил, понимаешь?

Я сказал так и испугался: «Неужели она подумает, что я все не пошутил, а сказал всерьез? Из-за той ее просьбы... в театре».

Но сестра, кажется, так не подумала. И даже не рассердилась. Не рассердилась!..

— Дело совсем не в этом,— сказала она.— Дело в реакции... Впрочем, ты не поймешь!

— Но ведь если человек кричит — значит, он волнуется, а если волнуется...

— Это я уже слышала!

Больше я советов ей не давал.

Я прекрасно во всем разобрался, все, мне кажется, понял, но, по мнению Людмилы, не должен был разбираться и понимать. Не имел никакого права! И не мог я помочь ей открыто. «Почему? — злился я.— Почему?!»

Я должен был действовать тайно от мамы и от Людмилы. Отец ничего не знал: у него — двести двадцать на сто...

И вот я начал исправлять положение.

Я знал служебный телефон Людмилы и, когда никого не было дома, позвонил:

— Можно Ивана? — сказал я.

— Какого Ивана? — ответил смешливый девичий голос.

— Не знаю...

— А фамилия?

Я молчал.

Это девушку совсем уж развеселило.

— Какой-то ребенок! — объяснила она сотрудникам. — Мальчишка или девчонка...

Снова ребенок! И неужели нельзя по голосу отличить меня от девчонки?

— Предлагаю на выбор! — сказал мне веселый голос. — Ивана Петровича, Ивана Сергеевича и Ивана Ивановича!..

Я выбрал Ивана Ивановича. Но когда он сказал «Алло!», я сразу повесил трубку. Вдруг не тот? А я назову ему имя сестры и начну извиняться!..

И потом, наверное, в мастерской много разных отделов. Откуда я взял, что Людмилин Иван работает с ней в одной комнате?

Что было делать?

Узнать фамилию у Людмилы? Она мне не скажет: не мое это дело! Спросить тайно у мамы? Она мне, конечно, ответит так:

— Это даже хорошо, что ты волнуешься за сестру. Благородно с твоей стороны! Но в данном случае вмешиваться не стоит.

Оставался один только выход...

В день, когда у сестры был отгул и она ушла играть в теннис, я отправился к ней на работу. Не совсем «на работу», а к дому, где была архитектурная мастерская.

Я знал этот дом — красивый, из стекла, металла, пластмассы. Таких домов еще мало у нас в городе. Но смешно, если мебельщики будут сидеть на плохой мебели, а архитекторы работать в некрасивом и старом доме.

Я пошел пешком, чтоб по дороге набраться храбрости. Но чем дальше я шел, тем страшнее мне становилось: «Как узнаю его, Ивана?.. О чем я ему скажу, незнакомому человеку?»

Делать что-нибудь смелое надо сразу, не думая, раз уж решил.

И мне лучше было бы ехать туда на троллейбусе или трамвае. Слишком уж много времени я оставил себе для сомнений и всяких мыслей.

Наконец я дошел...

Я знал, что рабочий день кончается в половине пятого. Архитекторы стали сыпаться из подъезда, как мы высыпаемся из школы после уроков. Только немного потише и помедленнее...

Двери были из некрашеного дерева, с разводами, напоминавшими мне почему-то водяные подтеки, как на пнях. Эти двери моя сестра распахивала каждый день по два раза. Нет, по че-

тыре: она еще ходит обедать в столовую. Я с интересом разглядывал двери и лестницу...

Сперва из дверей посыпались девушки. У нас из школы первыми выскакивают мальчишки. Девушки были в ярких, цветастых платьях, на каблуках, с модными сумочками. У некоторых в руках были рулоны. Все они казались очень красивыми. Это меня огорчило.

Но ни у кого из них не было такой спортивной фигуры, как у Людмилы. И такого умного, как говорит мама, значительного лица. Только вот нравятся ли мужчинам значительные лица? Этого я не знал.

В мастерской Людмила работает меньше года: раньше она училась в аспирантуре. У нее еще нету здесь близких подруг, которые ходили бы к нам домой. И от этого было спокойнее, никто не мог крикнуть: «Леня, а ты что тут делаешь?..»

Потом показались мужчины.

Как мне узнать Ивана? По дороге я кое-что изобрел... Наверно, это выглядело очень смешно и глупо, но как только вышли мужчины, я крикнул, глядя куда-то вверх, словно голубю или скворцу:

— Ива-ан!..

Никто не откликнулся.

Из дверей выходили группами: то женщины, то мужчины. Иногда попеременно, но редко... Будь что будет, я быстро стал повторять:

— Иван! Иван! Иван!

Нет, так не годится: собаку я кличу, что ли?

— Ива-ан...

Я произнес имя протяжно и медленно, словно дальше должно было следовать отчество.

— Вы меня? — ткнул себя в грудь мужчина.

Он сказал «вы», наверно, от неожиданности.

Нет, этот был слишком уж старый и лысый. Я помотал головой: не вас!

И снова крикнул, глядя на небо:

— Ива-ан!..

— Вы меня?

Если б он и нравился нашей Людмиле, я бы решительно выступил против: он был сестре до плеча. И то бы не дотянулся!..

— Нет, я не вас...

И снова:

— Ива-ан...

— У тебя объявился тезка, — сказал кто-то кому-то в группе мужчин.

Один из них обернулся, взглянул на меня.

— Ива-ан! — снова крикнул я. Уже, наверное, от испуга.

Тогда он пошел ко мне.

— Видишь ли... — начал он где-то на полпути.

Я прямо вздрогнул: «Видишь ли...» — так часто начинает фразы дядя Лёня с нижнего этажа. Но дядя Лёня произносит свое «видишь ли» неуверенно, растягивая слоги, словно бы вслух рассуждая, а этот сказал как-то насмешливо.

Пока он шел ко мне, я успел подумать: «Наверно, не ниже Людмилы... Ведь мужчина среднего роста, можно считать, равен высокой женщине!»

— Видишь ли, — повторил он все так же насмешливо, — у меня к тебе огромная просьба: называй своего приятеля просто Ваней. Чтобы не было путаницы.

Первый из трех Иванов, работавших в мастерской, он понял, что не мог его звать незнакомый, а тем более мальчишка. Но стал тыкать себя в грудь и спрашивать: «Вы меня?»

«Настоящий Иван! — думал я. — Русоголовый, светлоглазый... Родители, когда давали имя, не промахнулись! Конечно: ведь в сказках Иван, если даже Иван-дурак, то все равно далеко не дурак, а сообразительный и красивый. Ну как же могли родители назвать Иваном того воц, лысого? Или того, низкорослого? Сообразили! Хотя, когда человеку дают имя, трудно с точностью определить, будет он лысым или не будет...»

Обо всем этом я думал ровно секунду.

— Ну что же, договорились? — спросил он. — Поскольку твой Иван пока еще здесь не работает...

— Работает! — неожиданно для самого себя перебил я его.

— Ну-у, брат! Создается просто безвыходное положение. И часто ты будешь его вызывать?

— У меня тут еще кое-кто работает...

— Тоже Иван?

— Людмила...

Я нарочно назвал имя сестры, чтоб посмотреть, какое это произведет на него впечатление.

Он не вздрогнул, не побледнел и не схватился за сердце, как делают, услышав имя любимой, герои в пьесах или романах. Просто исчез его насмешливый взгляд, сразу куда-то пропал. И я догадался: это тот самый. Тот!

Он глядел уже на меня абсолютно серьезно и даже чуть-чуть подозрительно, будто я мог обмануть его или разыграть.

— Какая Людмила?

Я назвал нашу фамилию.

— Ну, брат...

— Вот именно: брат! Я ее брат... И даже похож на нее по-много лицом. Так говорят... Присмотритесь!

Я забыл, что можно быть похожим не только на сестру, но и на мать. Чтобы он не успел об этом подумать, я стал убеждать:

— Да брат же я! Брат! Это я разговаривал с вами и пошутил... У Людмилы нет сыновей! И не было браков... Ей тысячи раз предлагали, но она не хотела!

— Тысячи раз?

— Ну, десятки... Она сама не хотела выходить замуж. И сейчас не хочет. Так мне кажется... А я просто-напросто пошутил.

Он мне поверил, потому что обернулся к друзьям и сказал:

— Не ждите меня.

Он не повысил голоса, но они услышали, потому что голос у него и так был громкий, отчетливый. «Вполне подходит для нашей семьи!» — решил я.

— Идите! — Он махнул сослуживцам рукой.

— Что, отыскал пропавшего сына? — спросил кто-то из них.

— Вот видите! — обрадовался я. — И они пошутили: называли меня вашим сыном. А кто-нибудь может услышать и подумать, что в самом деле. Как вы подумали...

— Так ты и есть Ленька?

— Она вам рассказывала?

— Говорила, что есть младший брат. А ты, оказывается, вполне взрослый парень!

С этой минуты я его полюбил.

— Почему вы ни разу к нам не пришли? Просто так, в гости...

— Не приглашала... Пойдем-ка, обсудим с тобой ситуацию.

Он обнял меня за плечи. Это было приятно. И мы с ним пошли: по улице, не спеша, как ходят приятели. Сперва он молчал. А я обо всем на свете забыл: мы шли, как приятели!

Потом я взглянул на него и подумал, что он бы ни за что не вышел на лестницу в фартуке, как дядя Леня, с которым я почему-то его мысленно сравнивал. На нем был модный, красивый костюм и рубашка, такая белая, что лицо казалось уже загорелым, хотя была еще только весна. А может, и правда успел загореть?

— Мы ведь с Людмилой в мастерской почти друг друга не замечали: она — на втором этаже, а я — на четвертом. Познакомились на теннисном корте, — сказал он. — Вот уже полторы недели, как забросил ракетку...

«Он забросил ракетку, а Людмила стала ходить на корт еще чаще, — подумал я. — Значит, он может не видеть ее, а она его, значит, не может?..»

— Людмила тоже не ходит на теннис, — сказал я. — Она ходит в театр... В кино. Почти каждый вечер...

— Вот видишь! Я так и знал. Почти каждый вечер?.. Заволновался!

— Ну, в крайнем случае, через день.

— В этом-то все и дело! Не в том, что ты пошутил, а я ей устроил сцену... Дело в том, что она даже не хочет мне объяснить...

— У нее есть сознание собственной правоты! — сказал я. — И потом... Должна у нее быть гордость?

— Ну-у, брат, ты меня удивил! Разве можно с этим считать-ся? Подошла бы и объяснила: так, мол, и так, мой брат пошутил. А то ведь даже слова не произнесла! Ничего объяснить не желала... И спокойно ходит в кино!

«Людмила считает, что он не имел права разволноваться и накричать, — размышлял я. — Он считает, что она обязательно должна ему все объяснить... Почему взрослые придают такое значение мелочам и все усложняют?.. Они слишком много думают — вот в чем несчастье. А иногда надо поступать не думая, просто как хочется! Я вот, например, не могу быть в ссоре с друзьями больше, чем день или два... А взрослые все усложняют! Иногда я могу им помочь. Но они не верят, что я могу. И я не могу! Хотя Иван, кажется, верит...»

— Слушай, ты сам-то влюблялся? — спросил он меня. Сам-то? Влюблялся?..

Значит, он в Людмилу влюблен!

Я улыбнулся, хоть не хотел улыбаться.

— Вижу по твоей блаженной физиономии, что уже успел!

— Я? Нет еще...

— Ну-у, брат! Неужели ни разу?

— Точно не помню... Но, кажется, нет...

— Вспомни! Не может быть!..

— То есть однажды я испытывал кое-какие чувства... Но потом это прошло.

— Ну конечно!

Почему же конечно? Может быть, и у него чувства всегда проходят?

Когда я ответил, что не влюблялся, я сказал Ивану неправду. Потому что не привык, чтоб взрослые задавали мне такие вопросы. А на самом-то деле почти все мальчишки у нас в кого-нибудь влюблены. Один мой друг даже остался на второй год из-за любви. Абсолютно ничего не соображал: не мог писать диктантов, контрольных по математике. Разве нормальный взрослый в это поверит? А Иван бы поверил... Я чувствовал это. И все-таки не смог ему честно ответить.

— А я знаешь, где первый раз влюбился по-настоящему? — спросил вдруг Иван.

По-настоящему? Должно быть, в этой самой архитектурной мастерской?..

— Знаешь, где?

— Нет, я не знаю...

— В детском саду! Мы выезжали летом за город. И там одна девочка заболела. Ее звали Норой. Даже имя запомнил! Необычное такое: легче запоминается. Ей было шесть лет. В нее были влюблены все поголовно. Ну конечно, из тех, которые умели влюбляться в шесть лет! Она заболела, и я ей носил в изолятор букетики ягод. Огромное счастье, что она меня презирала!

— Почему?

— Оказалось, что я ей носил волчьи ягоды. Дикие! Они были очень красивыми. Внешне очень мне нравились!..

Всю дорогу я мечтал сказать что-нибудь умное.

— Внешняя красота не всегда совпадает с внутренней, — сказал я.

— Она поняла это еще раньше, чем ты: в шестилетнем возрасте. И выбрасывала мои подарки. Иначе бы ей не выздороветь никогда! Сообразительная была девчонка... И все-таки я к ней охладел. Тогда все было просто.

«Теперь уже, значит, не просто!» — с радостью решил я. И сказал:

— Это нельзя назвать серьезной любовью. Ну, увлечение... Такое со мной бывало сколько угодно раз!

— Тогда ты должен меня понять. И помочь!..

Я читал в книжках, что ребята во время войны часто помогали взрослым. Иногда даже спасали от смерти! А так, в обычные дни, взрослые почти никогда не обращаются к нам за серьезной помощью. Сбежать за чем-нибудь, что-нибудь принести — это пожалуйста. А по серьезному делу, от которого за-

висит их жизнь, не обращаются. Иван обратился... И я готов был сделать для него что угодно!

— Разве у вас сейчас... увлечение?

— А у нее?

Раньше мне очень хотелось ему сказать, что Людмила абсолютно спокойна, совсем не страдает. Но теперь я не мог соврать и сказал правду:

— Она тоже переживает.

Он даже остановился.

— Где же логика? — вроде бы злился он. Но голос был радостный.— Где же простая логика?! Ничего не сказала... Не объяснила!..

Обычно, когда я мирюсь с приятелем, то для начала предлагаю ему что-нибудь приятное. Подхожу и как ни в чем не бывало говорю: «Пойдем на каток! Пойдем играть в чехарду!»

— А вы бы просто так подошли к ней и сказали: «Пойдем в кино!» Или: «Пойдем играть в теннис!»

— Я предлагал.

— А она?

— Не реагирует.

Зачем все так усложнять?!

— Она очень переживает? — тихо спросил он.

— А вы думали нет?..

— Кончай с этим вы! — крикнул он.

Вот как обрадовался!

— Говори просто ты! Я — за полное равноправие.

Равноправие... Вот чего мне всегда не хватало!

Часто взрослые говорили мне: «Давай побеседуем, как мужчина с женщиной!» Или: «Поговорим с тобой, как приятели!» Это самое как подчеркивало, что на самом-то деле я не мужчина и мы еще пока не приятели. Разве может быть равноправие на какое-то определенное время? Разве можно быть приятелем на одну беседу?

Иван предлагал равноправие навсегда. Так мне казалось.

Мне захотелось немедленно отблагодарить Ивана. И я рассказал о плане, который придумал еще до нашей с ним встречи, дома:

— Сделаем так!.. Я скажу, что пригласил к себе товарища нового... Совсем нового! Все будут дома: они любят изучать моих новых друзей. А придете к нам вы!

— Я?..

— Ну да! А потом уж я все объясню: разыскал вас — и пригласил. Дома Людмила не сможет пройти мимо и не ответить. Она очень гостеприимная. На себя всё возьму. Раз из-за меня это случилось!

Я боялся, он скажет так, как сказала бы мама: «Это хорошо, что ты обо мне заботишься. Благородно! Но в данном случае твой план не подходит...»

Он ничего подобного не произнес. Обнял меня посильнее за плечи, и мы снова пошли.

— Я всегда говорю, что нет безвыходных положений! — воскликнул Иван.

— А до этого заговаривать с Людмилой не надо, — сказал я. — Она ведь может опять не ответить. Пройдет мимо, и все! Вполне может быть... Она у нас тоже с детского сада пользуется огромным успехом. Как ваша Нора... Мне мама рассказывала. И поэтому она очень гордая!

— А я ведь ей не сказал про тебя ни слова. Не выдал! — похвастался он, как мальчишка. — Она так и не знает, кто это мне наврал про сына и двух мужей.

— Я сам сознался...

— Значит, ей известно, как все получилось? И все-таки не подходит? Не объясняет?.. И мириться не хочет? Ну, это уж слишком! Ну, знаешь, брат, это уж...

— Она первая не подойдет! Потому что она очень многим нравится. Вот, например, дяде Лене, который под нами живет. Он очень известный врач: все болезни умеет лечить. А недавно мы с ней шли в театр, так все кругом на нее смотрели. И обращались...

— Это я сам замечал, — грустно сказал Иван. И добавил: — Она уж, наверно, дома? Ты ее скоро увидишь?

Он мне завидовал! И я его понимал... Вот, например, когда я в последний раз был влюблен, то очень завидовал брату этой девчонки. Ему было всего лет семь или восемь, а я к нему даже подлизывался. Заговаривал с ним. И очень ему завидовал: ведь он видел ее каждый день — и утром и вечером, с ней вместе обедал и ужинал. И вместе ездил на дачу, а я летом с ней разлучался. «Он всегда будет знать о ней — через десять лет, через двадцать... Куда бы она ни уехала!» — так думал я. Ведь я же не знал, что скоро к ней охладее. А если бы кто-нибудь мне сказал, я б ни за что не поверил! Мне, когда я влюбляюсь, обязательно кажется, что это до самой смерти, на всю жизнь, навсегда!

— Значит, договорились? Вы приходите к нам в гости, потому что я вас пригласил!

— Не вас, а тебя!

Кстати, я часто думал о том, что неравноправие между нами и взрослыми начинается с этого самого: они нас — на ты, а мы их — на вы.

7

Мама, отец и Людмила, как я уже говорил, очень любят изучать моих новых друзей. Если приятель им не понравится, они обязательно дадут мне это почувствовать. Конечно, каждый по-своему, потому что у каждого из них свой характер.

Отец постарается, чтоб то, что мой новый приятель ему неприятен, мне было приятно. Или, по крайней мере, чтоб я не очень расстроился.

— У тебя же есть просто замечательные друзья, — скажет отец. — Слишком уж расширять этот круг — все равно что разбавлять вино водопроводной водой, оно крепче от этого не становится. У тебя же есть такие отличные друзья. Такие надежные! Все к тебе тянутся... Любят тебя, мерзавца!

— Это даже хорошо, что ты прощаешь ему все недостатки, — скажет мама про моего нового друга. — Значит, ты добр...

Таким образом я пойму, что у приятеля есть недостатки.

Ну, а Людмила и в этом случае не станет переиначивать арии.

— Что касается друзей, то тут я не за количество, а за качество, — скажет она. — Не знаю, так ли уж великолепны твои другие товарищи, но этот проверки на качество не выдерживает.

Ну, а если я все равно захочу проводить время с новым приятелем, они начнут отвлекать меня от него всеми существующими на земле удовольствиями: фильмами, пьесами, футбольными матчами...

В общем, я знал, что в тот вечер, когда должен будет прийти мой новый товарищ, они все трое окажутся дома.

— Надень, пожалуйста, свой тренировочный синий костюм, — попросил я Людмилу.

У нее был новый спортивный костюм, который мне очень нравился.

— Зачем? — спросила сестра. — Ходить по квартире в спортивном костюме?

— Он тебе очень идет. Гораздо больше, чем платье.

Людмила пожала плечами.

— Понимаешь, я рассказывал этому другу, что ты спортсменка... Что играешь в теннис и волейбол. Я хочу, чтобы он поверил.

— А он считает тебя лгуном?

За полчаса до того, как должен был явиться мой друг, Людмила стала заниматься гимнастикой, хотя всегда занимается ею по утрам. Нет, она и не думала выполнять мою глупую просьбу, но когда Иван позвонил к нам в дверь, она случайно оказалась в том самом спортивном костюме.

Я побежал открывать...

Когда Иван вошел в комнату, все усиленно занимались своими делами: отец, прикрыв глаза, слушал музыку (в этот день он купил огромные пластинки, на которых умещались целые оперы и симфонии), мама вязала мне свитер, а Людмила водила рейсфедером и линейкой по своей чертежной доске. Одним словом, они и не собирались уделять моему другу какое-то особенное внимание.

Иван сказал:

— Здравствуйте!

Тогда они все сразу отвлеклись от своих занятий. Мама с отцом переглянулись. А Людмила не удивилась. Как будто знала, что Иван должен прийти... Она никогда не удивляется.

— Заходи, — сказала она. Потом обратилась к маме, отцу и ко мне: — Познакомьтесь: это Иван. Леня ждет своего друга. Он думал, что ты — это он, поэтому так разбежался, — пояснила она Ивану.

Иван растерялся. И я решил тут же ему помочь.

— Заходи, Иван, заходи! — сказал я еще более громко, чем всегда разговаривал дома. — Мы тебя ждали!..

Накануне я никак не мог произнести это самое ты, и вдруг оно как-то легко и просто слетело у меня с языка.

— Вы знакомы? — спросила мама.

— Да, мы знакомы, — ответил я. Людмила и этому не удивилась. — Я разыскал Ивана — и пригласил... Должен же он наконец познакомиться с нашей семьей!

— Прекрасная инициатива! — воскликнул отец.

Он ничего ведь не знал о ссоре, и Людмила должна была улыбнуться Ивану:

— Я рада, что вы познакомитесь.

Что бы стоило ей сказать: «Я рада, что ты пришел!»

Отец выключил радиолу. Мама бросила мой будущий свитер и побежала в соседнюю комнату.

А через минуту она вернулась оттуда причесанная и даже губы чуть-чуть подкрасила.

— Мы с Иваном встретились и подружился! — объяснил я всем членам нашей семьи. — Это и есть мой новый товарищ.

— Всё точно, — сказал Иван.

И тут я заметил, что в руках у него гвоздики и коробка конфет. Он и сам от волнения забыл о них. Я решил разгрузить Ивана:

— Давай это все!

— Ты уверен, что это тебе? — спросила меня Людмила.

— Нет, тебе! — сказал я уверенно.

— А может быть, маме?

— Наверно, обеим. Иван, это обеим? Скажи, не стесняйся! Я старался его ободрить: ведь он же был моим гостем.

— Давно вы на ты? — спросила Людмила.

Она не могла чертить или читать свои лекции, как делает, если чем-нибудь недовольна. Но обращалась все время ко мне: она не любит встречаться глазами с тем, на кого сердита.

— Это даже хорошо, что вы явились так неожиданно, — сказала мама. — С хозяйки нет спроса! У скромного ужина есть оправдание!..

— Да, прошу вас за стол, — пригласил отец.

— Садись, Иван! — поддержал я отца. — Чувствуй себя, как дома!

— Тогда я сниму пиджак! — сказал Иван так громко, словно знал законы нашей семьи.

На буфете у нас стоят фарфоровые фигурки. Их расставила бабушка, которая умерла года три назад. Людмиле фигурки не нравятся, но она их не трогает: это считается памятью о маминной маме.

А в тот вечер мама сама вдруг взяла фарфоровые фигурки и унесла в соседнюю комнату. Она все время оглядывала наши стены и вещи, то и дело что-нибудь вытирала. Она, когда нервничает, всегда водит тряпкой по мебели, ищет пыль, которой там нет. Мама не подготовилась к встрече гостя, мнение которого было для нее, оказывается, так важно. Но не мог же я рассказать обо всем заранее?

«Не твое это дело! Ты этого не поймешь!» — сказала бы мне Людмила.

Все волновались.

Отец снова и снова включал радиолу и каждый раз спрашивал:

— Не мешает?

— Ну, что вы! — отвечал Иван.

Тогда отец выключал... Да и сам Иван, я уверен, снял пиджак просто для храбрости.

Людмила помогала маме на кухне. Когда они внесли в комнату тарелки с сыром, ветчиной и салатом, мы, все трое мужчин, сидели уже за столом.

Людмила взяла пиджак Ивана и, отряхнув рукав, перевесила на свободный стул.

С этой минуты всем стало легко.

Отец достал графин, в котором плавали желтые корки.

Я поймал мамин взгляд. «Надеюсь, ты пить не будешь», — молча сказала она отцу.

А он ответил ей вслух:

— Врач разрешил... в исключительных случаях.

— Но сегодня ничего исключительного не происходит, — сказала Людмила.

Иван взял графин и налил в рюмки всем, кроме отца. Мне тоже...

Но я боялся, что Людмила какой-нибудь одной фразой все сразу испортит, и поэтому пить не стал.

— За мир и дружбу! — сказал Иван.

— Между народами? — спросила Людмила.

— В том числе и между народами.

Людмила улыбнулась и выпила. Мы с Иваном переглянулись.

Чтоб моя полная рюмка не мозолила всем глаза, Иван незаметно и ее, как говорят, осушил.

Мы долго еще сидели. Отец опять заводил свои огромные пластинки.

А Иван терпеливо их слушал. Может быть, он даже получал удовольствие.

Потом Людмила переоделась и пошла провожать его.

Когда они стояли в коридоре, возле двери, я с радостью сказал сам себе: «Все-таки он чуть-чуть выше сестры. А еще ведь надо учесть ее каблучки!»

— Иван и Людмила! — сказал вдруг отец.

«Иван и Людмила... Руслан и Людмила... Отец за весь вечер ни разу не цитировал песни и арии. Ни единого раза! И ни разу не назвал меня гордо «мерзавцем», — подумал вдруг я. —

Почему? Наверно, стеснялся Ивана. Дорожит его мнением?.. Значит, Иван понравился?»

Но ведь взрослые не торопятся высказывать вслух то, что думают друг о друге. И всегда боятся перехвалить. Обругать они не боятся, а вот прежде, чем похвалить, будут долго присматриваться, приглядываться. Даже если все сразу ясно!

— Это хорошо, что ты устроил такой спектакль,— унося на кухню тарелки, сказала мама.

— И как ты это придумал? — воскликнул отец. — Умный, мерзавец! Изобретательный!..

Опять они обо мне!

8

Прошло два с половиной месяца.

Иван теперь бывал у нас очень часто. И дом наш как-то повеселел. На окна и двери мама повесила новые портьеры, которые много лет лежали в шкафу. На столе теперь всегда была яркая скатерть, которую раньше мама стелила только по праздникам. Вкуснее всего мама кормила нас теперь по вечерам: Иван иногда ужинал вместе с нами.

Однажды дядя Леня с нижнего этажа остановил меня на лестнице и спросил:

— Это ваш родственник? Такой... загорелый.

— Да,— ответил я.— Родственник... Мамин племянник.

— Я так и думал: ты с ним на ты.

— Что, симпатичный?

— Видишь ли, издали трудно определить. Но производит хорошее впечатление.

— Он архитектор. Талантливый!

— Это стало в вашей семье фамильной профессией. Впрочем, это профессия века: строят, строят...— Дядя Леня засунул дужки очков в рот: призадумался.— Кем же он Людмиле приходится? Двоюродным братом?

— Ну да. Они дружат с детского возраста.

Он долго не мог попасть ключом в замочную скважину. Мне показалось, от радости... И сказал на прощанье:

— Если Людмила захочет, я зайду посмотреть отца. Или привезу к вам специалиста. Если захочет...

Я не успел еще похвастаться во дворе, что сестра скоро выходит замуж. Как хорошо!.. Зачем огорчать дядю Леню?

Ивану я сказал:

— Прямо под нами живет один врач. Я уже, кажется, говорил... Очень влюблен в Людмилу.

— Давно?

— С детского возраста. Я объяснил, что ты наш двоюродный брат. Чтоб он не расстраивался... Понимаешь? Так что будь в курсе дела.

— Добрый ты, брат! — улыбнулся Иван.

Вместо слова «мерзавец» он говорил мне «брат». Это было приятнее.

Дома у нас никто о свадьбе даже не упоминал. Отец и мама боялись спрашивать у Людмилы.

Когда сестра возвращалась домой, мы смотрели на нее восторженно.

— Играли в теннис, — сообщала она. — Иван снова выиграл. Или что-нибудь вроде этого.

Конечно, я мог бы узнать у Ивана. Но получилось бы, что мы ждем не дождемся.

Однажды вечером Людмила сказала:

— Жить я хочу рядом с вами. Где-нибудь здесь, поблизости.

— Какое это имеет значение! — Отец вскочил со стула.

Мы с мамой тоже вскочили. Ожидание прорвалось, и мы стали убеждать Людмилу, что транспорт у нас в городе работает хорошо, что отцу и маме врачи прописали прогулки и что район поэтому не имеет никакого значения.

«Не хватает, чтоб из-за этого она затянула все дело!» — думал я. Но сестра повторила так твердо, что все мы сразу притихли:

— Нет, я буду жить только где-нибудь рядом. Это уже решено.

Кем решено? Ею?.. Или ими обоими? Никто узнать не решился.

Ивану недавно дали комнату в совсем новом доме. Это было далеко: минут сорок от центра, если ехать на троллейбусе. Один раз Иван, как он выразился, затащил меня к себе.

Правда, я не очень сопротивлялся. Так, для приличия сказал:

— А может быть, лучше поедem к нам?

Это было на стадионе, где Иван с Людмилой играли в теннис.

— Нет, — ответил Иван, — ты прорубил мне окно в ваш дом, а я должен прорубить тебе — в свой.

Мы поехали на такси. Первый раз в жизни я в автомобиле не сел рядом с шофером: мне приятнее было сзади, вместе с Иваном.

Иван тоже пока холостяк... Как дядя Леня. Но посуда у него стояла там, где должна быть посуда, а книги — в книжном шкафу.

Мы сидели на балконе и видели реку и лес.

Иван сказал:

— Вот что значит квартира со всеми удобствами: хочешь — купайся в ванне, а хочешь — в реке; хочешь — дыши газом на кухне, а хочешь — березой в лесу! Но главное, нет телефона! Это величайшее из удобств: сберегается время. Кого не хочешь слышать — не слушаешь, а кому надо сказать два слова — звонишь из автомата. Он под самыми окнами.

В тот вечер он еще много раз восторгался:

— Дачный климат! Просто курорт!..

«Захочет ли Иван уехать отсюда? Скажет еще: «Где же логика? Где же простая логика? Здесь лес и река!..» Это меня волновало.

«И чего сестре взбрело в голову? — раздумывал я. — Наверно, потому что у отца двести двадцать на сто. И мама неважно слышит. А может, ей и со мною жаль расставаться?..»

— Пусть Иван переедет к нам! — сказал я однажды, словно был главою семьи. — Я буду спать на кухне. Пожалуйста... А если хотите, то в коридоре.

— В нашем доме, в нашем доме!.. — переиначил отец арию из «Евгения Онегина».

— Да, в нашем доме... — задумчиво сказала Людмила. — У Ивана есть комната. Он готов обменяться: переехать в любую квартиру нашего дома.

На следующий день я сочинил объявление:

«Срочно меняю комнату в доме со всеми удобствами: балкон, ванна, душ, газ, лес, река, дачный климат, телефон под самыми окнами! С предложениями обращаться в любое время...» И написал номер нашего телефона.

Но никто с предложениями не обращался, хоть объявление я расклеил во всех подъездах нашего огромного дома. И еще в доме напротив. Неужели никому не нужен был дачный климат?

Никто не звонил... Только дядя Леня остановил меня во дворе и сказал:

— Там висит объявление. И ваш телефон... Я помню его еще с детства. Прочитал и не понял: кто хочет меняться?

— Это двоюродный брат. Хочет быть с нами рядом! Он любит маму... Она — его единственная тетя.

— Это понятно: каждый хочет быть рядом с родными людьми.

Однажды Иван попросил меня проводить его. На улице он обнял меня за плечи, как тогда, в день знакомства.

— Ну, брат, затеяла Людмила историю. Может быть, ты сможешь? Я говорю: «Давай переедем ко мне, а потом подыщем что-нибудь на вашей Машиностроительной улице». А она отвечает: «Если мы переедем, тогда уж не обменяемся: стимул ослабнет!» Где же тут логика? Где же простая логика? Может быть, ты что-нибудь придумаешь? Как тогда, с этим твоим приглашением...

Уже второй раз он нуждался в моей помощи!

— Ладно, подумаю. — сказал я.

— Подумай, брат. Очень прошу!

Но подумать я не успел. Через три дня, вечером, сестра нам сообщила:

— Срок поисков продлевается! Мы с Иваном уезжаем на полгода в командировку.

— Вместе? — переспросила мама.

— Вместе. Конечно! — сказала Людмила. — За это время Леня обклеит объявлениями всю нашу улицу, и что-нибудь да найдется!..

Она говорила бодро и даже весело, потому что мама начала искать тряпкой пыль там, где ее не было, а у отца по шее и по лицу поползла красная краска.

Отец не пропел, а как-то почти прошептал на свой особый мотив:

— В движенье мельник жизнь ведет, в движенье...

9

Я уже говорил, что не помню, с какого возраста я себя помню. Но с той поры, с какой помню, никто из нас четверых никогда не уезжал на целых полгода.

Сколько написано разных музыкальных произведений про людей, которые уезжают! Отец цитировал сейчас эти песни и арии. Композиторы почему-то очень радуются, когда люди уезжают из дома. Но отец пел эти веселые песни невесело.

И мне было как-то не по себе.

— Это даже хорошо, что ты уезжаешь,— сказала мама Людмила.— Наконец мы узнали, как Лёня к тебе относится!

Чтоб не грустить, я пытался вспомнить все случаи, когда Людмила была несправедлива, а вспоминал фильмы и пьесы, на которые водила меня сестра. Хотел вспомнить приятелей, которые мне нравились, а ей нет, но вспоминал об Иване, с которым никогда бы не встретился, если бы не она.

К Ивану мы тоже привыкли. Он все время подбрасывал нам положительные эмоции.

— Вы провожаете нас с Людмилой в наш первый путь, как провожают в последний,— сказал Иван.— Где же логика? Где же простая логика? Надо радоваться, а вы?..

— Чему радоваться? — спросил я.

— Раньше вы не получали от нас писем, а теперь будете получать! Это во-первых. Во-вторых, до сих пор вы не ждали нашего возвращения, а теперь будете ждать. И в-третьих, мы действительно к вам вернемся. Это же будет праздник!

— Слишком уж до-олго... — проямлил я.

— Долго? Вспомни какой-нибудь случай, который произошёл с тобой полгода назад. Что-нибудь такое... значительное!

Я подумал, что примерно полгода назад дал Костику по физиономии.

— Вспомнил?

— Ну, вспомнил...

— Давно это было?

— Нет... как будто вчера.

— Вчера? Значит, мы вернемся к вам завтра! Все познается в сравнении.

— Я понимаю.

— Эти шесть месяцев промчатся так же быстро, как те. Ты — хозяин своих собственных мыслей?

— Наверно, хозяин.

— Вот и переключи их с отъезда на возвращение. Переключил?

— Постараюсь.

— Ну вот! Не существует безвыходных положений.

— О бра-атя, довольно печали!.. — пропел отец из той самой страшной симфонии Бетховена, в которой поют. И добавил: — Плохой тот мельник должен быть, что век свой хочет дома жить!..

Иван опять подбросил нам положительные эмоции.

Накануне отъезда мы все — мама, отец и я — с его помощью переключили мысли и думали о дне возвращения. Как это будет здорово — получим телеграмму: «Встречайте! Целуем!» — и помчимся встречать!

Мама опять устроила ужин... Иван пришел с чемоданом, чтобы на следующий день рано утром вместе с Людмилой отправиться на вокзал.

Два чемодана стояли возле стены, прижавшись друг к другу: один — огромный, перепоясанный ремнями и чуть-чуть покорябанный, а другой — аккуратный, без единой царапинки и даже пахнущий духами (я почувствовал это, когда ставил его к стене).

Мне казалось, что кто-то ввинтил в люстру новые лампочки, более сильные: так сверкали на столе рюмки, бокалы, тарелки. Я не видел раньше этой посуды. В последнее время мама доставала из шкафа все, что берегла для какого-то особенного, торжественного события.

В центре стола был любимый отцовский графин, в котором плавали желтые корки. Иван поставил рядом с ним бутылку шампанского и коньяк.

Мама отозвала меня в сторону, попросила сбегать в магазин за фруктовой водой.

— Для отца, — шепнула она. — Я не хочу, чтобы он сегодня пил это... Очень волнуется!

Когда я возвращался с тремя бутылками лимонада, меня встретил на лестнице дядя Ленья. Мне казалось, он только и делает что ходит по лестнице, отпирает и запирает дверь: очень уж часто я встречал его.

— У кого-нибудь день рождения? — спросил дядя Ленья. — Утром мама несла бутылки, теперь ты...

— Да, день рождения!

— Кто же родился?

«Если сказать, что Людмила или кто-нибудь другой из нашей семьи, он побежит за подарком», — решил я.

— У кого же сегодня праздник? — повторил дядя Ленья.

— У маминого племянника. Он одинок. И вот мы устроили... Для него!

— Это понятно, — сказал дядя Ленья. И, как всегда после моего ответа, полез ключом в замочную скважину.

Дома все ждали меня. Мама вытерла бутылки лимонада и поставила их на стол.

— Твой напиток, — тихо сказала она отцу.

— Куда ты, удаль прежняя, девалась?..— пропел отец из «Царской невесты». И добавил обыкновенно, по-человечески: — Да никуда не девалась! Вот она, здесь...

Отец взял два чемодана, стоявшие у стены, и вскинул их вверх, как спортсмен, поднимающий гири.

— Иван и Людмила! — воскликнул он, потрясая в воздухе чемоданами.

— Есть еще порох в пороховницах,— восхитился Иван.

— Есть!..— ответил отец.

Чемоданы рухнули на пол... Отец застыл с поднятыми руками.

— Что такое? — тихо спросила мама.

Отец открыл рот, но не смог ничего ответить. Он шевелил губами, словно вспоминал про себя какую-то арию или песню...

Иван подошел к отцу. Я не понимаю, как это получилось, но через какую-нибудь минуту отец уже лежал на диване. Как Иван перенес его? Взяли ли себе на плечи? Или взял на руки, как ребенка? Я просто не видел.

Отец был выше Ивана, шире в плечах, тяжелее, и я не представляю себе, как Иван смог его дотащить. Так быстро, так осторожно... А мы застыли на месте, будто состояние отца перешло к нам, и даже не помогли.

Потом все трое, как по команде, мы ожили и очутились возле дивана.

— Кол...— прошептал отец.— Кол... загнали сюда:..— и положил руку на сердце.

— Не шевелись,— приказала Людмила. И побежала в другую комнату.

Мама стала водить тряпкой по спинке дивана — тихо, бессмысленно.

— Это бывает...— Иван тяжело дышал, но улыбнулся.— Пройдет!

Он сказал так уверенно, будто с ним это случалось уже не раз.

— Что же делать? — спросила мама.

Людмила вошла в комнату с пузырьком и кусочком сахара. По всему куску расползлась желтая капля. Отец взял сахар в рот, под язык.

— Сейчас сбегая! За врачом...— сказал я. И бросился в коридор, потом вниз по лестнице. Только бы он был дома!.. В этот миг дядя Леня казался мне самым нужным, самым важным, са-

мым значительным человеком на свете. Мне казалось, что все, все в мире зависит сейчас от него!..

Должно быть, он понял это, потому что не стал задавать вопросов: хочет ли Людмила, чтоб он пришел, или не хочет? Он взял коричневую пластмассовую коробку, потом блестящую, металлическую, еще что-то засунул в карман и побежал за мной прямо в чем был — в ковбойке с распахнутым воротом и засученными рукавами, в пижамных штанах и тапочках.

Когда он вошел к нам, то чуть-чуть зажмурился от яркого света. Все было праздничным и нарядным: рюмки, тарелки, бутылки, графин с желтыми корками, шампанское и коньяк, Людмилино и мамино платье, модный костюм Ивана. Даже отец лежал на диване в каком-то парадном виде: мама гладила сегодня пиджак и брюки, дала ему новую нейлоновую рубашку.

Людмила сидела рядом на стуле и держала в своей руке руку отца. Мама присела на край дивана и по-прежнему водила тряпкой по его деревянной спинке.

Иван уже отдышался, но стоял все на том же месте. Когда мы вошли, он сказал:

— Вот сейчас врач подтвердит: это спазм. Простая история! Спазмы проходят. Вообще нет безвыходных положений. А тут — простая история...

Я верил Ивану. Мне казалось, в его присутствии не может случиться ничего страшного, непоправимого.

Людмила выпрямилась, поднялась, указала на стул дяде Лене.

Дядя Леня измерил отцу давление. Аппарат был в той самой коричневой коробке. Потом расстегнул отцу нейлоновую рубашку, снял глестук, засунул себе в уши концы резиновых трубок и стал слушать сердце.

Наконец он поднялся и спросил у отца:

— Что вы чувствуете?

— Кол... — прошептал отец. — Будто загнали кол...

— Так... Понятно. Вы не волнуйтесь. Племянник правильно говорит: это спазм. Просто спазм... Сейчас сделаю вам укол. И все сразу пройдет! Но вставать нельзя. И нельзя шевелиться. В первое время...

Никто даже не удивился, что он назвал Ивана племянником. Только я это заметил.

После укола отцу стало легче. Он улыбнулся — так, еле-еле...

Тогда дядя Леня увидел чемоданы, валявшиеся посреди

комнаты, будто кто-то их расшвырял. Он удивленно посмотрел на один чемодан, потом на другой, потом на меня... А потом заметил свои пижамные брюки. И сразу заторопился:

— Я больше не нужен.

— Спасибо тебе, — сказала Людмила.

Они были на ты. Еще с детства.

Мы с Людмилой пошли провожать дядю Леню. В коридоре он засунул дужки очков в рот, словно нарочно, чтобы было не очень ясно слышно то, что он скажет:

— По-моему, это инфаркт... Надо бы «неотложку».

— Уже позвонили, — сказала Людмила. — Значит, ты думаешь...

Войдя в комнату, сестра улыбнулась отцу:

— Вот видишь: все не так страшно.

Первый раз в жизни она сказала неправду.

А я опять пошел в коридор. Я ждал «неотложку», чтобы она при отце подтвердила слова Людмилы: «Все не так страшно...»

10

Иван уехал один. После того, как отцу разрешили повернуться на бок.

Отец так и лежал на диване, куда принес его на руках Иван.

Приходили врачи, один раз мы с Иваном привезли профессора на такси. Нам советовали отправить отца в больницу:

— Теперь мы транспортируем инфарктников. Новый метод!

После врачей мы бежали за дядей Ленией.

— Видите ли, — говорил он, — новые методы не хочется проверять на близких. Лучше уж дома обеспечить уход... Я буду к вам заходить.

Он заходил каждый день. По вечерам, когда дома была Людмила. У себя, на втором этаже, он все время теперь был в таком виде, будто собирался на концерт или в театр: а вдруг мы за ним прибежим?

Дядя Лёня был всего лишь зубным врачом, но мы делали то, что советовал он.

— Да-а... Транспортировка инфарктников? — рассуждал он, засунув в рот пластмассовые дужки очков. — Это слишком серьезно. Нельзя рисковать.

— Если б у вас было что-то серьезное, — объяснял потом отцу Иван, — вас бы сразу же отвезли в больницу. Все познает-

ся в сравнении! Знаете ли вы хоть одного инфарктника, которого бы не отвезли? Я говорю о последнем времени, когда победил новый метод.

— Убедительно,— говорил отец. И напевал из «Сомнения» Глинки: — Усни, беспокойное сердце!..

— Правильно,— соглашался Иван.— Повернитесь на правый бок и усните. Благо, вам теперь можно ворочаться. Сон — лекарство номер один!

Профессор советовал:

— Надо сказать ему, что это — инфаркт. Тогда мобилизуются нервы, он устремит себя на борьбу!

Профессор был стар, но отстаивал новые методы.

— Видите ли...— рассуждал дядя Леня, когда профессор ушел.— Человеку свойственно верить в лучшее. И надеяться... Есть точка зрения, что и о самых ужасных недугах следует сообщать. Но ведь даже врачи забывают о симптомах страшной болезни, когда сами ею болевают. Мы всегда оставляем место надежде. Не хочется верить в худшее. Так зачем сообщать?.. Нужны положительные эмоции!

— Все познается в сравнении! — объяснял позже отцу Иван.— Хоть от кого-нибудь из ваших знакомых-инфарктников разве скрывали диагноз? Нет, не скрывали? Вот видите. Новые методы побеждают! И для вас бы не сделали исключения. Значит, нет никакого инфаркта. Обидно, конечно, болеть не самым серьезным образом. Но что тут поделаешь? Просто спазмы сосудов... На всякий случай вас выдерживают в постели. Верней сказать, на диване!

— Да, да... Я понимаю,— соглашался отец.

В присутствии дяди Лени Иван и Людмила всегда оказывались в разных концах комнаты. И вроде бы не замечали друг друга. Они не сговаривались — так само собой получалось.

В день отъезда, уже на вокзале, Иван сказал Людмиле:

— Писать буду регулярно. Но коротко! На бумаге все как-то не так получается... Но ты не считайся с этим — пиши подлиннее! Ведь вы тут все вместе, а я буду один...— Потом повернулся ко мне.— Тебе, Ленька, буду писать отдельно. И ты мне пиши почаще: о доме, о школе и об отце, конечно. Сам понимаешь! И о Людмиле. Это все меня особенно интересует... И постарайся переселить нас с Людмилой поближе к вашему дому.

Людмиле хотелось по привычке сказать, что Иван обращается не по адресу, что я не смогу, не сумею: ребенок! Я чувство-

вал, что она хотела это сказать, но не сказала. Вообще с приходом Ивана я в глазах всех домашних вдруг повзрослел. Он разговаривал со мною, как с равным, и все ему начали подражать.

— Значит, постарайся переселить, — повторил Иван. — Иначе я останусь холостяком!

Людмила утвердительно кивнула: да, мол, останешься.

Иван уехал.

Дней через десять пришли два первых письма: «Людмиле Нечаевой (лично)», «Леониду Нечаеву (лично)». Иван писал, как устроился, как начал работать. В письме, адресованном мне, на отдельном листке он обещал отцу, что научит его играть в теннис и волейбол.

В тот же день я послал ответ. Иван просил меня писать о доме, о школе, об отце, о Людмиле. Я решил в первом же письме выполнить все его просьбы. Письмо получилось длинным. «Другие будут короче, — решил я. — Это же самое первое!..»

Потом сел и переписал. Но все равно на бумаге получается как-то не так... Иван абсолютно прав!

«Дорогой Иван! Твое письмо получил. Расскажу обо всем по порядку.

Сперва об отце. Ему уже разрешили садиться. Он мне сказал: «Никогда не представлял себе раньше, что это так здорово, так приятно: просто сидеть на диване. Как будто начинаю жить заново!» Как только мама чуть-чуть нахмурится, он сразу поет: «О братья, довольно печали!..» Он вообще теперь больше всего поет не из опер, а из этой самой Девятой симфонии. Значит, думаю, поправляется.

Вчера к нему товарищи приходили с работы. Трое с цветами. Цветы отцу принесли, но как Людмилу увидели, так сразу ей передали. И весь вечер возле нее вертелись, как будто забыли, зачем пришли. Сперва сказали: «На пять минут! Не будем его утомлять!..» — а просидели до позднего вечера.

«Ну, — говорят, — иметь такую дочь и болеть — просто стыдно! Иметь такую дочь и не выздороветь — невозможно!..»

Потом дядя Леня пришел. И сказал: «Видите ли, ему пора отдохнуть...» Наверно, из ревности это сказал. Тогда они сразу ушли.

Теперь расскажу немного о школе.

У нас было родительское собрание. Мама не смогла пойти: она все время с отцом. И пошла наша Людмила.

А на следующий день математичка (самая строгая в школе!) сказала: «Сестра-то у тебя, оказывается, интересная жеп-

щина. Такое значительное лицо! А это гораздо больше, чем просто красивое!..»

Я даже представить себе не мог, что она об этом заговорит. А потом и ребята стали подходить: «Слушай, Ленька, наши родители в твою сестру вчера все влюбились!» Ну, я стал с ними спорить, сказал, что они немного преувеличивают. Но они даже слушать меня не хотели. «Мы, говорят, своим родителям больше верим. Они лучше в таких делах разбираются!»

А в доме у нас, в помещении красного уголка, товарищеский суд состоялся. Объявление повесили, что в тридцать пятой квартире ссора произошла и что ее будут в красном уголке обсуждать. Все за два часа начали места занимать, как будто на заграничную кинокартину.

А к нам домоуправ специально зашел. «Вы, говорит, Людмила Андреевна, как член товарищеского суда, обязательно должны быть. Вас ведь избрали единогласно!» Людмилу действительно все избрали, еще полгода назад. Хотя она ужасно отказывалась, отбивалась. Она тебе об этом из скромности не рассказала.

На другой день после суда все во дворе восхищались: «Как ваша Людмила выступила, так сразу нам ясно стало, кто прав, а кто виноват. Совсем молодая, а так во всем разбирается!»

И дядя Леня на другой день приходил смотреть отца не один раз, а целых три. И тоже хвалил Людмилу. Ну, он-то понятно: влюблен в нее с детского возраста. А вот другие... Совсем же чужие люди! И в таком были восторге. Мне во дворе уже второй день уступают очередь на бильярде. Из-за Людмилы!

Дорогой Иван! Ты просил написать о доме, о школе и об отце. Я все это выполнил. Ты просил еще о Людмиле. Но она же сама тебе пишет.

Стараюсь переселить вас с Людмилой поближе к нам. Объявления написал большими печатными буквами и расклеил почти во всех домах, кроме одноэтажных.

Отец и мама тебя целуют. И я тоже! Леня».

В конце месяца Людмила меня спросила:

— Ты сколько писем получил от Ивана?

— Два.

— Что ж, пять—два в мою пользу!

Как будто она была на волейбольной площадке!.

— Мне кажется, что время остановилось,— сказал как-то отец.

— Это даже хорошо,— тихо сказала мама.— Значит, мы не будем стареть. Ты ведь всегда горевал, что годы, как шофер-лихач, «превышают скорость».

— Да-а... Мчатся годы, выются годы...— переиначил отец романс на стихи Пушкина. Иногда он и Пушкина переделывает по-своему.— А теперь вот сутки кажутся мне целой неделей.

Я знал, что когда ничего не ждешь, время катится очень быстро, а если чего-нибудь ждешь, то оно ползет как улитка. И все-таки я решил утешить отца.

— Все познается в сравнении! — сказал я.— Вот вспомни: что было месяц назад? Тебе разрешили выйти на улицу! Но ведь это было буквально вчера. Правда?

— Действительно... Будто вчера,— согласился отец.

— Значит, Иван вернется к нам завтра! Потому что это будет как раз через месяц. Все познается в сравнении!

— Умный, мерзавец! — восхитился отец.— Просто философ!..

На самом деле я почти слово в слово повторил то, что говорил мне перед отъездом Иван. Но я не сказал об этом отцу: пусть думает, что сын у него философ. Ему нужны положительные эмоции.

— Когда есть какое-нибудь дело, дни идут гораздо быстрее,— продолжал я философствовать.— Ты сейчас ничего не делаешь, и поэтому тебе кажется, что время остановилось. Помогите мне переселить Ивана!..

— Я готов,— согласился отец.— Пожалуйста... Я готов. Но радиус моих действий очень уж ограничен: двор и бульвар.

— Вот и прекрасно! — воскликнул я.— Там гуляют пенсионеры. Старые, усталые люди... Они вполне заслужили отдых с видом на реку и с дачным воздухом! Зачем им жить на Машиностроительной улице? Они с удовольствием переедут.

В тот же день вечером отец грустно пропел из «Евгения Онегина»:

— Привычка свыше нам дана...

— В каком смысле? — спросил я.

— Пенсионеры не желают покидать насиженных мест.

— Плохой тот мельник должен быть, что век свой хочет

дома жить! — не пропел, а со злостью прокричал я. — Ты это им объяснил?

— Объяснил.

— А они?

— Привычка свыше нам дана, замена счастью она!..

— Действительно, отказываются от своего собственного счастья! Это же глупо. Ты как считаешь?

— Надо искать среди молодых, — ответил отец.

Я искал среди людей всех возрастов. Всем одиноким я объяснял, что, переехав к Ивану, они будут жить одновременно и в городе и на даче, что им не придется покупать путевки на курорт. Иван дал мне задание — и я должен был его выполнить. Но оказалось, что люди не любят переезжать с места на место. И еще оказалось, что они почему-то очень ценят разные удобства. Для них имеет большое значение, например, чтобы остановка троллейбуса была рядом. Как будто трудно пройти один километр по свежему воздуху! Но особенно для них важно, чтоб в квартире был телефон.

В объявлениях, которые я расклеил по всем подъездам нашего тупика, было крупными печатными буквами написано: «Телефон под самыми окнами».

— Что это значит: под самыми окнами? — несколько раз спрашивали меня. — Вы его там повесили, что ли?

— Нет, это телефон-автомат.

— Ах, автомат... Тогда вопрос отпадает.

— Отсутствие телефона — это же величайшее из удобств, — повторил я как-то дяде Лене слова, которые услышал от Ивана. — Сколько можно сберечь времени. Кого не хочешь слышать — того не слушаешь, а кого хочешь — тому звонишь из автомата. Он под самыми окнами. Очень удобно! Почему люди не понимают?

— Видишь ли, телефон — это для некоторых избавление от одиночества, — сказал дядя Леня. — Я предполагаю, что у Ивана комната не очень большая...

— Не очень. При чем тут это?

— Значит, на твои объявления откликаются главным образом одинокие люди. Телефон для них особенно важен. Им ведь дома не с кем поговорить. Они хотят иметь связь с внешним миром.

— Внизу автоматная будка!

— Видишь ли, это — односторонняя связь... А люди предпочитают двухстороннюю.

— Пусть выйдут в коридор или на кухню и там связываются с внешним миром. У Ивана ведь не отдельная квартира, в которой можно сдохнуть со скуки. У него есть соседи! Кажется, даже две или три семьи.

— Сосед — это тот, кто оказался рядом случайно. Друзья и соседи — понятия разные.

Мне стало ясно, что выполнить задание Ивана будет совсем не легко.

Часто я слышал, как Людмила рассказывала по телефону о комнате «на краю города». Она говорила вполголоса, словно стеснялась, словно боялась, что кто-нибудь из нас услышит.

Я злился!.. Ну зачем было подчеркивать, что Иван живет так далеко? И что в квартире много соседей. И что до троллейбусной остановки нужно идти пятнадцать минут... А может, кто-нибудь дойдет за десять! Или даже за пять!.. «Мастер четких линий!» — злился я про себя. — «Прямота многое испугает!».. И так далее... Но если она уж такая прямая, то почему не говорит о дачном воздухе, о реке, о курортном климате? Почему это скрывает? Неужели она не хочет, чтоб Иван переехал? Неужели не ждет?..»

Однажды я полез в ящик Людмилиного стола за бумагой: мне казалось, что письма, написанные на тетрадных листах в клеточку или в линейку, выглядят как домашние сочинения или как контрольные по математике. В ящике были аккуратно сложены в стопку все письма, полученные от Ивана, и на каждом конверте четким Людмилиным почерком были обозначены месяц, число.

Сестра не любит хранить то, что ей не нужно. Она всегда с удовольствием рвет на мелкие клочки старые записи и тетради: «Человечеству это не пригодится!»

Прогулки отца по двору и бульвару становились длиннее.

Дядя Лёня сказал тихо и даже с грустью:

— Заметное улучшение. — А потом добавил: — Но еще долго будет необходим ежедневный врачебный контроль.

Он привык бывать у нас ежедневно.

Один раз я заметил, что у дяди Лёни совсем уж грустное настроение. «Может, отец уже выздоровел? — подумал я. — И ему не нужен ежедневный врачебный контроль?»

— Что с обменом? — спросил меня дядя Лёня в коридоре, возле самой двери. — Никто не хочет ехать туда, на край города?

— Нет, не хотят, — с досадой ответил я.

— Видишь ли, больше по этому поводу можешь не волноваться.

— Почему? — удивился я.

— Видишь ли... я все продумал. И согласен туда переехать.

— Вы?!

— Ну да, готов обменяться с этим самым молодым человеком, которого ты выдал за двоюродного брата.

— Как это выдал?

— Видишь ли, получилось не очень удобно... Мне нужно было оставить памятьку: как принимать лекарства, в какой последовательности. Отец попросил меня открыть ящик стола, где лежит бумага. Там я увидел... Случайно, конечно. Как-то неловко вышло... Я вроде бы подглядел. Хотя это не очень существенно... Видишь ли, от двоюродного брата так много писем не получают. И их так бережно не хранят. Но, в общем, это все не существенно. Я согласен отсюда уехать...

Я обрадовался. А потом спохватился и стал отговаривать дядю Лёню:

— Мы к вам привыкли!..

Он решительно распахнул дверь и сказал каким-то не своим, твердым голосом:

— Значит, считайте, что я согласен.

Иван и Людмила будут жить прямо под нами, на втором этаже!

— В нашем доме, в нашем доме!.. — весело переиначил отец арию из «Евгения Онегина».

— Мы будем перестукиваться по трубе! — крикнул я.

Мама стала искать тряпкой пыль там, где ее никогда не было. А Людмила начала чертить что-то на своей доске, хотя за пять минут до этого сказала, что весь вечер будет свободна.

— Надо сейчас же написать об этом Ивану! — воскликнул я.

— Напиши, — сказала сестра.

А когда я сел рядом с нею за стол, тихо спросила:

— Сколько ты в этом месяце получил писем?

— Два!

— Значит, два — один в твою пользу.

Я потверже уселся на стуле и гордо огляделся по сторонам. Но мама и отец не слышали Людмилиных слов и не могли понять моей гордости.

А через два дня счет в мою пользу увеличился. Я получил третье письмо от Ивана. Правда, оно было совсем коротким:

«Здравствуй, Ленка! Я прилечу на один день. Есть важное дело! Пока никто не должен знать об этом. Никто, кроме тебя! Ты помнишь, где я живу? Жду тебя двадцатого в три часа дня. Надеюсь, что самолет не опоздает. Мужской уговор: никому ни слова. До скорой встречи! Иван».

12

Больше всего в письме Ивана мне понравились слова: «мужской уговор». Я много читал о священных союзах, которые заключали между собой мужчины. Они всегда договаривались кого-то спасти, выручить или преподнести кому-нибудь неожиданный подарок, сюрприз.

«Наверно, Иван тоже решил поразить Людмилу, а может, и маму с отцом чем-то необычайным! И хочет, чтобы я ему в этом помог. Как мужчина мужчине!.. — так рассуждал я в троллейбусе, конечная остановка которого была примерно за километр от Иванова дома. — Иван верит в меня. Знает, на что я способен. Он ни разу не сказал: «Ты ребенок! Не поймешь, не сумеешь, не сможешь!..» И никогда так не скажет. Все познается в сравнении! Иван прекрасно помнит самого себя в моем возрасте. Разве он считал себя в те годы ребенком?»

Я ехал прямо из школы, с портфелем. Дома я сказал, что у нас будет собрание. Многие не любят собраний, ругают их. Но это же просто-напросто черная неблагодарность! Собрания бывают не так уж часто, но зато как часто можно на них сослаться. Куда бы ни пошел после школы, к товарищу или на стадион, всегда можно сказать: «Было собрание!» И никто не станет ворчать: «Столько часов без обеда! Все ждали, все волновались...»

В прошлый раз я ехал к Ивану на такси. Это было летом, дорога была быстрой, приятной. А троллейбус тащился не спеша, потому что была гололедица, и делал слишком уж частые, длинные остановки. Потом усы его соскочили с проводов, водитель выскочил из кабины и долго дергал усы за веревку. Потом какой-то грузовик буксовал на дороге. Водитель снова выскочил и, вместо того чтоб подтолкнуть грузовик, зачем-то ругал шофера.

Оба раза я выскакивал на улицу вместе с водителем. «Все норовит подсобить!..» — сказала кондукторша. Она не знала, что я еле-еле поспевал к трем часам.

«Никому, кроме меня, неизвестно о приезде Ивана, — рас-

суждал я.— В письме так и написано: «Никто, кроме тебя!» Значит, я один ему нужен. И, может быть, именно в три часа. Ровно в три!..»

Чтоб сократить расстояние, я бежал от остановки до дома прямо через сугробы. Падал, проваливался, отряхивался и снова бежал...

Дом Ивана нельзя было спутать с другими домами: он стоял один среди белого поля, которое летом было зеленым. С двух сторон от него начинали расти еще два кирпичных корпуса, словно братья-близнецы, родившиеся совсем недавно: летом их не было. Невдалеке, за шоссе, была замерзшая река с невысокими берегами и лес, который летним вечером казался мне совсем темным и мрачным, а в зимний день стал серебристо-синим, нарядным.

Вдруг я увидел Ивана. Он стоял на балконе в пальто, но без шапки. И махал мне, будто поторапливал. Зимой редко выходят на балкон, а он вышел.

«Значит, не зря я бежал по сугробам. Значит, я нужен ему ровно в три!..» — так думал я, то и дело спотыкаясь на лестнице: очень спешил.

Дверь квартиры была открыта. Иван стоял на площадке. Я гордился, что первым вижу его в день возвращения. Раньше Людмилы! Раньше отца и мамы. Его, которого все так ждали!.. Иван притянул меня к себе и поцеловал. Я тоже вытянул губы, но попал в плечо его зимнего пальто. Я никогда еще не видел его в этом пальто. Как все, что он носил, оно было красивым и выглядело совсем новым. «Почему все на нем кажется только что купленным?» — не раз уже думал я.

Он не был дома больше пяти месяцев, а комната была убрана, растения в горшках были зелеными, свежими. На тумбочке возвышалась кипа несмятых и, видно, нечитанных газет и журналов.

— Соседка следит,— объяснил мне Иван.— Я оставил ключи.

Он бросил свое пальто на диван. Потом бросил туда мое пальто и мою ушанку. «Наверно, волнуется,— решил я.— А то бы вынес пальто в коридор и повесил на вешалку».

— Как здоровье отца? — спросил он.

Я ответил, что отец целые дни дышит воздухом на бульваре и во дворе.

— Хорошо, что мы тогда не разрешили испытывать на нем новые методы,— сказал Иван.— Молодец этот ваш дядя Ленья!..

— Он согласен переехать сюда, к тебе! — торжественно сообщил я. — А вы с Людмилой переедете к нему, на второй этаж. Будем перестукиваться по трубе!

— Как мама? Чуть-чуть успокоилась?..

— За дядю Леню переживает... Он согласился из-за Людмилы. А мама его с самого детства знает, и ей его жалко. Столько лет любит Людмилу!..

— Ты бывал без меня на стадионе?

— Один только раз. Мы пришли с Людмилой, а тот красавчик в белых трусах спрашивает: «Где ваш партнер?» Людмила сказала: «Уехал». Он взмахнул ракеткой и крикнул: «Это прекрасно! Я чувствую себя в блестящей спортивной форме!» Людмила его быстренько обыграла, и мы ушли.

Иван забыл закрыть балконную дверь. Наверно, от волнения. «Все-таки мы не виделись целых пять месяцев. Разволновался!..» — думал я.

Мне было холодно, но я терпел и молчал. А он подошел прямо к открытой двери и стал смотреть туда, куда мы смотрели с ним летом: на речку и лес.

— Видишь ли...

Он произнес это «видишь ли» не твердо и не насмешливо, как всегда, а медленно, растягивая слоги, как дядя Леня.

— Видишь ли... — повторил он. — Все познается в сравнении. Ты сам был влюблен, а потом... Нет, не то! Стыдно, брат, просто стыдно: никогда ничего не боялся, а сейчас не знаю, как тебе объяснить. Страшное дело, Ленька... Честное слово! Встретил я девушку... Понимаешь? Пошло звучит, а иначе не скажешь: встретил. Там, на строительстве. И ничего не могу поделать. Ты понимаешь?

Я его понял.

«Нет безвыходных положений!» — говорил он мне раньше. Но сейчас оно было передо мной, безвыходное положение. Разве я мог упротить Ивана? Уговорить?..

«Если бы он переехал к нам, на второй этаж, хоть на время, — думал я. — Просто так, чтобы попробовать... Он бы остался. Я бы все сделал, чтоб ему там понравилось. Я бы все сделал... Все!..»

— Вы уезжаете прямо сегодня? — спросил я.

— Почему вы? Я еду один.

А я и спрашивал про него одного...

Раньше мне казалось, что мы с Иваном будем друзьями, что бы там ни случилось! Что бы ни произошло...

Но только не это.

Это вообще казалось мне невозможным. Ну, как если бы мама сказала вдруг: «Я встретила другого мальчишку. Он лучше тебя. Теперь он будет моим сыном».

— Людмила поймет, — сказал Иван. — Конечно, со временем. А как быть с отцом? Ему нельзя говорить. И матери тоже. Я сам к ним привык. Нарочно продлил командировку еще на полгода. Чтoб отец совсем уж поправился. Ты подготовь их. Так, постепенно...

— Как... подготовить?

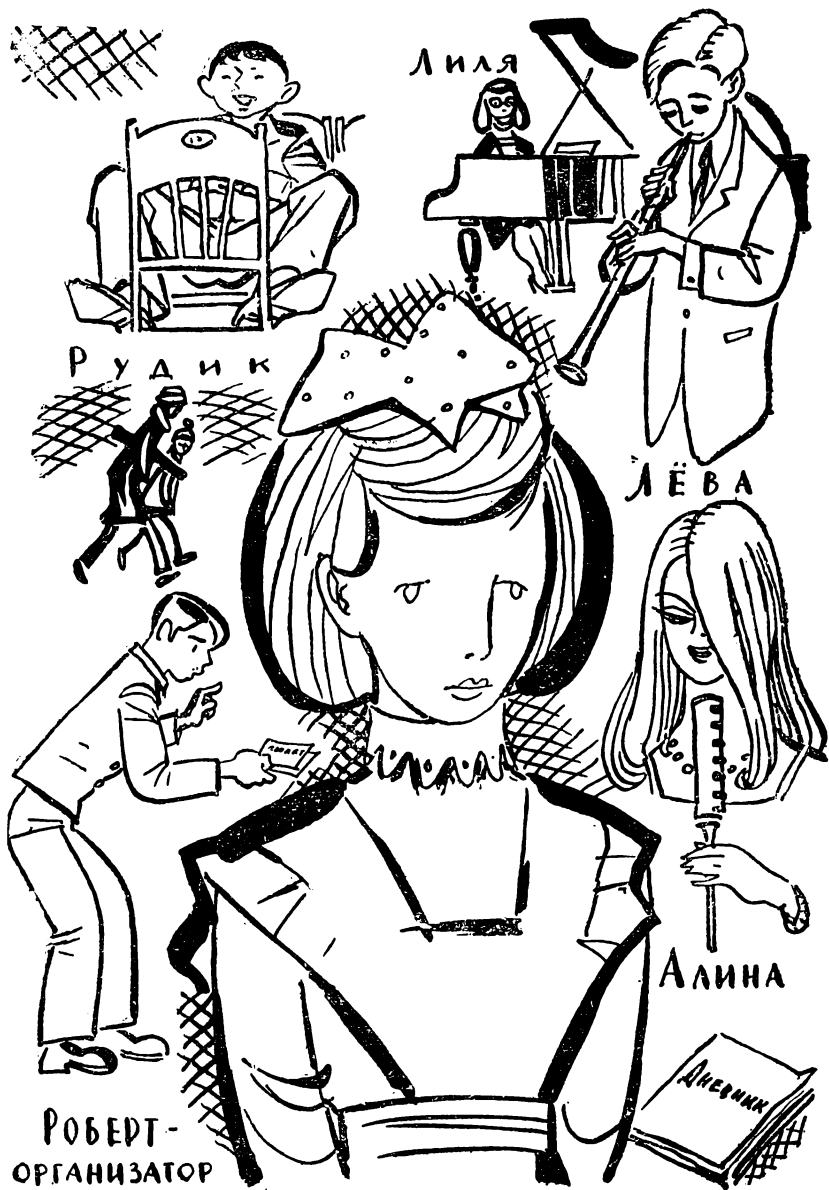
— Нет, ты не думай, что я собираюсь взвалить на тебя все это. Я сам все скажу. Но не сейчас. Сейчас не могу. Когда отец забудет про сердце... тогда. Отвлеки их немного... подготовь. Этим ты мне поможешь. Как мужчина мужчине... Ведь ты уже совсем взрослый!

— Какой же я взрослый?

— Теперь должен им быть. Ты и сам ведь хотел...

Часа через полтора я возвращался домой. Первый раз в жизни я должен был подняться к нам на третий этаж взрослым, совсем взрослым. Я никогда не думал, что это так трудно...





МОЙ БРАТ ИГРАЕТ НА КЛАРНЕТЕ

(Из дневника девочки)

21 декабря

Почти все девочки в нашем классе ведут дневники. И записывают в них всякую ерунду. Например: «Вася попросил у меня сегодня тетрадку по геометрии. Тайно попросил и очень тихо, чтоб никто не услышал. Зачем? Почему именно у меня? Почему так таинственно и с большим волнением? Уже полночь. Но я размышляю об этом и не засну до утра».

Васька просто-напросто решил сдуть домашние задания по геометрии. Именно у нее, потому что у меня он уже сдувал. «Тихо, таинственно!..» А кто же делает это громко? «С волнением!» Еще бы Ваське не волноваться! Девчонки обожают придавать самым обыкновенным поступкам мальчишек какой-то особый смысл.

Я тоже девчонка, но я понимаю, что дневники должны вести только выдающиеся люди. Нет, я ничего такого о себе не думаю. Но у меня есть брат, он учится на втором курсе консерватории. Он будет великим музыкантом. Это точно. Я в этом не сомневаюсь! И вот по моему дневнику люди узнают, каким он был в детстве.

Мой брат играет на кларнете. Почему не на скрипке? Не на рояле? Так хотел дедушка. Он умер, когда мне было всего два года. А брат Лева старше на целых пять лет, и дедушка начал учить его музыке.

Долгие годы я слышала о том, что наш дедушка «играл в

фойе». Я не знала, что такое фойе, но слово это казалось мне очень красивым. «Фойе», — четко выговаривала я. А когда первый раз сходила в кино и увидела музыкантов, которые играли в фойе, мне стало жаль моего бедного дедушку: зрители переговаривались, жевали бутерброды, шуршали газетами, а старые люди на сцене играли вальс. Они прижимали к подбородку свои скрипочки и закрывали глаза: может быть, от удовольствия, а может быть, для того, чтоб не видеть, как зрители жевали бутерброды.

Мой брат не будет играть в фойе! Он будет выступать в красивых концертных залах. Сейчас он готовится к конкурсу музыкантов-исполнителей на духовых инструментах. Мне жаль, что кларнет называют духовым инструментом. Когда я думаю о духовых инструментах, то сразу почему-то вспоминаю похороны и медный оркестр, который идет за гробом. Кларнет можно было бы назвать как-то иначе... Но что поделаешь!

Учусь я средне, но это не имеет никакого значения. Я решила посвятить свою жизнь не себе, а брату. Так ведь часто бывало с сестрами великих людей. Они даже не выходили замуж. И я не выйду. Ни за что! Никогда!.. Это точно. Лева уже знает об этом. Сперва он возражал, но потом согласился.

Мы договорились, что сам Лева в отличие от меня будет иметь право на личную жизнь, но лишь тогда, когда добьется больших музыкальных успехов. Лева весь, без остатка будет принадлежать искусству. У него не будет оставаться времени ни на какие обыкновенные человеческие дела и заботы. Все эти дела буду исполнять за него я. Фактически я отрекусь от собственной жизни во имя брата! И поэтому мои тройки не имеют никакого значения. К сожалению, мама и папа этого не понимают.

— Ты неплохо устроилась, — как-то сказала мама. — Значит, Лева будет учиться, с утра до вечера играть на кларнете, совершенствоваться, готовиться к конкурсам, а ты будешь всего-навсего посвящать ему свою жизнь. Какие-то у тебя иждивенческие настроения!

— А сестра Чехова, значит, тоже была иждивенкой? — спросила я в ответ.

— Ну уж... хватила!

Мама изумленно развела руки в стороны. Когда нечего сказать, легче всего разводить руками. В общем-то, я сама виновата: не надо слишком уж откровенничать со своими родителями: они обязательно используют эту откровенность против тебя.

Но зато когда-нибудь о Лева напишут книгу, и в нее войдут отрывки из моего дневника. Недавно я читала такую книгу о великом поэте. «Сестра поэта» — было написано под одной фотографией. А под моей напишут: «Сестра кларнетиста». Или лучше так: «Сестра музыканта». Это будет мне скромной наградой.

Вот зачем я стала вести дневник.

К несчастью, не все еще знают, какой это важный инструмент — кларнет. Именно он начинает Пятую симфонию Чайковского! Разве многим это известно? «Незаметный герой оркестра», — так говорит о кларнете Лева. Он даже рад, что кларнет «незаметный». Он и сам бы, наверно, хотел быть незаметным. Такой у него характер.

Но я этого не допущу!

Летом всему нашему дому слышны звуки кларнета. Но многие не знали, из какого именно окна летят эти звуки. Я объяснила, что это играет мой брат. Даже в холод я распахиваю окна, чтобы жильцы не отвыкали от Левиного кларнета.

Всем соседям я уже рассказала, что Лева готовится к конкурсу. Пусть меня считают нескромной: я готова ради брата на любые страдания!

В общем, я уже давно решила вести дневник. Но начать его я хотела не просто так, а с какого-нибудь знаменательного дня. И вот этот день настал!

Сегодня перед первым звонком меня схватил в раздевалке десятиклассник Роберт, по прозвищу «Роберт-организатор». Такая у него манера: он не останавливает, не берет за руку того, кто ему нужен, а именно хватает. За что попало: за руку, за плечо, даже за шею. Представляете?

Меня он схватил за рукав.

— Организуешь своего брата? На вечер старшеклассников!

Роберт обычно лишь первую фразу произносит нормально, по-человечески, а на дальнейшие разъяснения у него уже не хватает времени. И он начинает говорить быстро, пропуская глаголы, будто диктует телеграмму.

— Новогодний вечер! Первое отделение — стихи, классическая музыка. Второе — джаз и танцы. Классической музыки у нас нет. Вся надежда на брата. На твоего.

Я сразу сообразила, что никогда в жизни не будет больше такого прекрасного случая прославиться на всю школу. Не могу же я всем без исключения сообщить, что мой брат учится в консерватории, а тут все сразу узнают! Однако я решила немного

помучить Роберта, чтобы он не думал, что заполучить моего брата так просто.

— Видишь ли,— начала я,— мой брат готовится к конкурсу музыкантов-исполнителей...

Слова «на духовых инструментах» я опустила.

— Вечер старшекласников: только десятые! — сказал Роберт. — Ты в седьмом. Но вот два билета! Тебе и брату. Организуешь?

Что будет с моими подругами, когда они узнают, что я приглашена на вечер старшекласников! Который может им только присниться! В самом счастливом сне!..

И все-таки я сказала:

— Надо узнать: у брата новогодняя ночь может быть уже занята. Наверно, он приглашен куда-нибудь на концерт, а потом на бал музыкантов-исполнителей...

— Наш вечер двадцать шестого,— сказал Роберт.— Организуешь?

Новогодний вечер за пять дней до Нового года! Хотя что же тут удивляться, если Роберт умудрился недавно организовать «воскресник» в четверг?

— Ладно,— сказала я.— Это нелегко, но я постараюсь.

И взяла два билета.

22 декабря

Я хочу еще кое-что записать о вчерашнем дне. Когда я пришла домой, Лева играл на кларнете. Он всегда играет: и утром и вечером. Представляете? Как у него хватает терпения! Просто понять не могу. Хотя отчасти все же могу... Лева занимается любимым делом, а когда занимаешься таким делом, сразу откуда-то появляются терпение и воля. Вот если бы я, к примеру, должна была готовить уроки только по литературе, я бы могла их готовить круглые сутки и отвечала бы всегда на пятерки. Потому что я занималась бы любимым делом! Но геометрия, физика, химия... Откуда возьмешь столько терпения? И зачем заставлять людей заниматься тем, что им никогда в жизни не пригодится, что им неприятно и даже противно?! Понять не могу.

Когда кто-нибудь входит в комнату, Лева не прекращает играть: он словно бы ничего не замечает. А мы ходим на цыпочках.

Но вчера я не выдержала и сказала:

— Прости меня, Лева... Но у меня очень важное дело. Тебя просят выступить у нас в школе на новогоднем вечере.

Лева несколько секунд помолчал. Когда его отрывают от музыки, он всегда несколько минут молчит: как бы приходит в себя или, вернее сказать, возвращается к нам из какого-то другого мира. Так мне кажется...

— Тебя просят выступить у нас на новогоднем вечере,— повторила я, потому что первую мою фразу Лева мог не расслышать: он был в другом мире.

— Я готов,— сказал Лева.— В принципе я готов... Но слушать сольное выступление на новогоднем вечере?.. Кларнет выигрышной звучит в оркестре. Может быть, пригласить весь наш студенческий оркестр? Это будет эффектней.

Еще чего не хватало! Чтоб скрипки вылезли на первый план, а мой брат сидел где-то в углу? И чтоб кланяться выходил дирижер, а мой брат превратился в «незаметного героя оркестра»? Нет, я хочу, чтобы он был заметным!

— Ваш оркестр просто не поместится на нашей сцене,— сказала я.— И никто его вовсе не приглашал. Просили тебя. Персонально! У нас в школе обожают кларнет. Вот два билета.

Я положила билеты на стол и добавила:

— Значит, пойдём.

Я сказала так твердо потому, что Лева всегда подчиняется мне, хоть и старше на целых пять лет. Он говорит, что у меня «острый практический ум». Лева не объясняет, хорошо это или плохо. Он вообще не любит много говорить, разъяснять: он мыслит музыкальными образами. Так мыслят все настоящие музыканты. Я слышала это по радио.

— Я готов...— сказал Лева.— В принципе я готов. Но мой аккомпанемент?

«Мой аккомпанемент» — так Лева называет студентку консерватории Лилю, которая всегда сопровождает его сольные выступления.

Лилия не только аккомпанирует Лева — она влюблена в него. Это всем абсолютно ясно. И поэтому она не откажется выступить у нас на вечере.

Я не мешаю Лиле смотреть на Леву преданными глазами и даже иногда оставляю их вдвоем: потому что Лилия толстая, в очках и с веснушками всюду — на носу, на руках и даже на шее. Я испытываю доверие к некрасивым женщинам: они не могут отвлечь моего брата от музыки, и это так благородно с их стороны!

И мама, я заметила, тоже предпочитает некрасивых подруг. По крайней мере, когда она предупреждает папу: «Сегодня вечером ко мне в гости придет очаровательная женщина», — папа почти всегда усмехается и отвечает: «Безумству храбрых поем мы славу!» И преспокойно уходит вечером к соседу играть в шахматы. Он не верит, что мама приведет к нам в дом очаровательную женщину.

Я готовлюсь к новомуднему вечеру. И представляю себе, как все будет!

Мой брат сыграет одну вещь, только одну!

— Что ты сыграешь, Лева?

— Надо что-нибудь легкое... «Полет шмеля», например.

— Нет, не такое известное. Надо их поразить!

Последние слова я произнесла совсем тихо, как бы про себя. Лева таких фраз не любит.

— Может быть, из «Франчески да Римини»?

— Это пойдет!

После «Франчески» мой брат скроется за кулисы. Ему будут бешено аплодировать. Он снова выйдет, будто лишь для того, чтоб раскланяться. Но тут я поднимусь и скажу:

— Сыграй, Лева, еще. Я прошу тебя.

И назову такое произведение, какого никто из старшеклассников никогда в жизни не слышал. Лева послушается меня и сыграет. А потом он спустится в зал и сядет возле меня.

А потом будут танцы...

— Ты будешь танцевать только со мной, — сказала я брату.

— В принципе я готов... Но ты знаешь, я плохо танцую. Старомодно...

— Тем более. Чтобы не осрамиться, танцуй только со мной. Поклянись!

— Ладно, клянусь.

Конечно, мне будет труднее, чем Наташе Ростовой на ее первом балу! Ведь она была среди взрослых, а они нормальные люди и ведут себя по-человечески. Разве их можно сравнить с нашими десятиклассниками? Эти все время строят ехидные рожи, посмеиваются. И уверены, что они гораздо взрослее взрослых. По мнению моей мамы, это как раз и говорит о том, что они еще абсолютные дети, потому что, как утверждает мама, ни один взрослый человек никогда не захочет казаться старше своего возраста. Но сами-то десятиклассники не догадываются о том, что они абсолютные дети. И никто им этого не объяснит: просто никто не решится. Поэтому они и дальше будут изобра-

жать из себя утомленных «героев нашего времени», которых ничем на свете не удивишь. Это точно.

А я, может быть, их удивлю. По крайней мере они мне позавидуют!

27 декабря

Да, у Наташи Ростовой первый бал был гораздо счастливей, чем у меня. Гораздо счастливей!..

Я не знаю, как полководцы планируют свои военные операции. Пытаются ли они заранее представить себе действия противника? Может быть, и пытаются... Но от этого у них, конечно, возникает много разных трудностей и сомнений.

Когда же мой «острый практический ум» составляет какой-нибудь план, то вначале, пока я придумываю, все идет очень легко и просто, потому что участники будущих событий действуют так, как мне хочется. И в этом, я думаю, главный недостаток моих планов. Потому что потом, в жизни, участники событий начинают поступать по-другому, как им самим хочется. И тогда все летит кувырком.

Вчера так и случилось. Об этом просто стыдно писать. Но я все-таки напишу, раз уж взялась за дневник. А то у будущих исследователей жизни моего брата возникнут разные неясности. И они начнут разыскивать свидетелей, расспрашивать их. А эти свидетели... Нет, уж лучше пусть всё узнают от меня. Так будет спокойнее и вернее!

Неприятности начались с самого начала.

Я была уверена, что увижу возле школы толпу своих подруг — шестиклассниц и семиклассниц, которые будут рваться на вечер. Тогда Лева должен был взять меня под руку, толпа расступиться, а мы — гордо пройти сквозь нее к дверям школы. Там должны были стоять два старшекласника с красными поясками на рукавах. Оба они в один голос должны были воскликнуть:

— Это вы из консерватории? К нам на концерт? Мы вас ждем! Разденьтесь, пожалуйста, за кулисами.

Чтоб они так воскликнули, я привела Леву буквально в последнюю минуту, перед самым началом вечера.

Но никакой толпы возле школы не оказалось. Мои подружки всегда мечтали хоть немного потолкаться среди старшекласников. Но вчера они не пришли.

Так ведь всегда бывает, всегда... Вот, например, раньше, еще

до того как я окончательно решила не выходить замуж, мне иногда хотелось, чтобы какой-нибудь мальчишка увидел меня во дворе в моем новом платье. Я гладила это платье, врала маме, что я иду к подруге на день рождения. А мальчик во двор не выходил! То ли он заболел, то ли родители его за что-то наказывали, то ли тетя из другого города в гости приезжала, но только он, который целыми вечерами слонялся по двору, как раз в этот вечер сидел дома. А я должна была торчать неизвестно где часа два или три: ведь не могла же я вернуться со дня рождения через десять минут! Да, к сожалению, всегда так бывает... И вчера тоже так случилось.

Но самое ужасное произошло позже, на самом вечере. Хотя лучше уж расскажу по порядку, чтоб не сбиваться.

Десятиклассник с красной повязкой на рукаве бросился нам навстречу.

— Вы из «Варшавы»? — спросил он Леву.

— Он из Московской консерватории,— ответила я.— Это мой брат! Он будет выступать у вас на концерте.

Я указала на черный старинный футляр, который достался Леве от бабушки. Этот футляр с кларнетом Лева прижимал к себе и словно обнимал обеими руками. Десятиклассник внимательно, с подозрением оглядел моего брата. Мне казалось, он скажет сейчас: «Откройте-ка свой футляр. Посмотрим, что у вас там внутри!» Но он просто махнул рукой.

— Проходите.

И мы вошли в вестибюль.

Никто не предложил нам раздеться за кулисами, и мы долго стояли в очереди возле гардероба.

Десятиклассницы, повзрослевшие от нарядных платьев, с выходными туфлями под мышкой, говорили о том, что танцы будут до двенадцати ночи, что наш школьный джаз подготовил какую-то новую программу и что, может быть, даже придет артист, который поет в ресторане «Варшава».

Я презирала этих напудренных и надушенных девиц, которые не обращали на нас с Левой никакого внимания. Хотя бы старинный бабушкин футляр их заинтересовал! Наконец одна все-таки повернулась ко мне. Я благодарно улыбнулась ей, поздоровалась.

— А ты как сюда попала? — спросила она.

Я презирала этих девиц, но робела перед ними. И за эту свою робость еще сильнее их презирала.

— Я с братом,— тихо сказала я.

О кларнете и консерватории я почему-то не решилась упомянуть.

Десятиклассница прищурилась и окинула Лева таким взглядом, будто размышляла: стоит ли выходить за него замуж? Эти десятиклассницы часто оглядывают так незнакомых мужчин. А Лева еще крепче прижал к груди свой старинный футляр, словно десятиклассница собиралась отнять его.

Мой брат не произвел на нее впечатления — это было сразу заметно, — и она отвернулась. Еще бы! Ведь он не пел в ресторане «Варшава»!

— Я тебя уговорила в самый последний момент, — стала я шепотом объяснять Лева. — Они просто не знают, что ты будешь выступать... И потом, наш Роберт-организатор хочет, наверно, чтобы ты был для них сюрпризом.

Лева усмехнулся: кажется, он не верил, что может стать сюрпризом для наших десятиклассниц.

— В принципе они совершенно правы, — сказал Лева. — На балу и должны быть танцы... Это вполне естественно.

Я не обратила внимания на Левины слова, потому что он часто говорит просто так, чтобы не обидеть кого-то молчанием, а сам думает о чем-то совсем другом, о чем-то своем... «Весь в себе!» — говорит о нем мама. Может быть, он мыслит в эти минуты музыкальными образами. Так было, наверно, и в этот раз.

Почему он вдруг стал заступаться за танцы?

Но самое ужасное было еще впереди!

Зал у нас в школе на пятом этаже. Мы с Левой медленно поднимались по лестнице. А навстречу нам, сверху, на высоких каблуках сбегали старшеклассницы — как-то бочком, бочком, как всегда сбегают по лестнице. Перед вечерами и балами в школе всегда начинается девчачья беготня сверху вниз: кого-то ждут, кого-то высматривают... Десятиклассницы чуть не спилили нас с ног.

Лева о чем-то серьезно задумался. «Входит в свои музыкальные образы!» — решила я. И была очень рада: мне хотелось, чтоб в этот вечер он играл так замечательно, как никогда!

Один раз Лева поднял на меня глаза.

— Не отвлекайся! Не отвлекайся! — сказала я.

И вдруг он спрашивает:

— Самые пожилые учителя, как правило, работают в старших классах?

Лева иногда приходят в голову самые неожиданные мысли.

— Да, — отвечаю я. — А что?

— А старшекласники учатся чаще всего на самом верхнем этаже?

— У нас на пятом. И что из этого?

— Странно как-то... Непродуманно получается: старые люди по десять раз в день должны подниматься наверх без лифта.

Нашел о чем думать перед ответственным выступлением! Представляете?

Да, иногда моему Лева приходят в голову самые неожиданные мысли. Вот, помню, однажды мы ехали с ним в троллейбусе. Троллейбус набит битком. Останавливается возле университета, студенты рвутся к дверям, опаздывают, как обычно. Один парень в очках спрашивает у Левы:

— Вы выходите?

А тот поворачивается, улыбается и говорит:

— Вы здесь учитесь? Интересно, на каком факультете?

Водитель уже двери-гармошки распахнул, все лезут к выходу, а он: «На каком факультете?»

Представляете?

Лева, конечно, со странностями. Но, может быть, так и надо? Все великие люди были немножечко не в себе.

На пятом этаже нас встретил Роберт-организатор. Вниз он, конечно, не мог спуститься! Это было бы для него унизительно. Роберт даже не поздоровался, не познакомился с Левой: он не любит терять время по пустякам. Он сразу заговорил в своей обычной манере, опуская глаголы, торопливо и деловито:

— Инструмент с вами? Аккомпаниаторша тут, давно... Все прекрасно. Первое отделение в порядке. За кулисы!

Лева побрел за кулисы.

— Ты — в зал! — скомандовал Роберт.

Я пошла в зал.

Свободных мест уже почти не было. Только в предпоследнем ряду. Я села, а на стул слева от меня должен был сесть Лева после своего триумфа на сцене. Я положила на это место платок.

— Разрешите высморкаться!

Сзади загоготали. Я обернулась и увидела старшекласника Рудика — известного на всю школу балбеса, который паясничал даже на похоронах. Такие есть в каждой школе. И всегда они садятся в последний ряд. Рудик развалился и упер ноги в спинку моего стула. Теперь я поняла, почему мое место оказалось свободным: никто не хотел сидеть впереди Рудика. Мне в этот вечер чертовски везло!

И все-таки самое ужасное было еще впереди.

Роберт-организатор объявил со сцены, что первое отделение будет очень серьезным.

— Вот хорошо, посмеемся! — воскликнул Рудик.

Сперва какой-то участник драматического кружка стал читать Лермонтова:

Выхожу один я на дорогу...

-- Самостоятельной жизни! — крикнул Рудик.

Его приятели загоготали.

Потом какая-то участница хореографического кружка исполняла «Индийский танец».

— Хинди-руси бхай-бхай! — крикнул Рудик.

— Бхай, бхай! — подхватили его дружки.

Все стали оборачиваться, шикать на Рудика. Это его вполне устраивало: он был в центре внимания.

Своим «острым практическим умом» я сразу сообразила, что если во время Левиного выступления Рудик будет молчать, это произведет на всех огромное впечатление. Все решат, что даже Рудика сразил Левин кларнет. Но как это сделать?

Я тут же изменила план действий. Теперь я уже не должна была показывать, что Лева — мой брат. Я должна была это скрывать! Хотя бы на время...

Я знала, что в первом отделении будет всего три номера. Когда танец подходил к концу, я обернулась к Рудiku и сказала:

— Сейчас будет выступать очень талантливый музыкант. Будущий лауреат! Из Московской консерватории...

— Чихали мы на таких! — ответил мне Рудик.

— Чихать очень опасно! — сказала я. — Музыкант этот страшно нервный. Недавно во время его выступления один в зале чихнул, так он прекратил играть... И потребовал, чтобы чихающий вышел из зала.

— Вот хорошо, мне как раз надо выйти... Я еле сижу!

— Он не просто потребует выйти. Он еще осрамит на весь зал! Очень нервный. Потому что талантливый. Не советую связываться.

— Будет пикировать классику? — спросил Рудик.

— Конечно!

— «Спи, моя радость, усни!..» — пожелал Рудик самому себе.

И прямо-таки разлегся, по-прежнему уперев ноги в спинку моего стула. Я поползла вместе со стулом вперед... Но я про-

молчала: пусть делает вид, что уснул. Нашел-таки выход из положения!

А Лева уже вышел на сцену... Все ждали выкриков Рудика, хохота из последнего ряда, но было тихо. И как-то торжественно.

Я впервые смотрела на брата из зала.

У него был совсем не артистический вид. Нет, пожалуй, артистическим было только лицо: совершенно отсутствующее. «Весь в себе!», как говорит мама. Он еще не начал играть, но уже мыслил музыкальными образами. Это мне было ясно.

А все остальное было совсем не для сцены. Фигура сутулая, словно о чем-то задумавшаяся. Костюм был отглаженный (я сама его гладила), а казался помятым и не Левиным, а чужим.

«Я сама буду ходить с Левой к портным! — твердо решила я. — И буду заказывать ему самые модные вещи! Он будет проклинять меня, отбиваться, будет считать, что я отрываю его от искусства. Но я буду приносить себя в жертву: пусть плохо думает обо мне, пусть считает меня тряпичницей! Когда-нибудь он поймет... Да, он поймет, что я брала на себя все самое будничное, самое неблагодарное, как всегда делали сестры великих людей».

Но пока еще с Левой к портным ходила мама, а у нее был отсталый вкус. И наши пижоны из первых рядов, наверно, смотрели на Леву с усмешкой.

Потом вышла Лиля с нотами. Аккомпаниаторши, я заметила, чаще всего бывают пожилыми и некрасивыми. Певцы и музыканты на их фоне выглядят особенно эффектно. Но тут как раз Лиля спасла положение. Она вела себя как на самом настоящем концерте: вышла уверенным шагом, с независимо поднятой головой, строго поклонилась. И наши пижоны захлопали. Потом она потверже уселась на стул, разложила свои ноты. Обернулась к Леве и буквально впилась в него глазами, как это делают все настоящие аккомпаниаторы, ожидая сигнала... Это было как на самом настоящем концерте. И очень действовало на старшекласников.

Лиля ударила по клавишам, и Лева заиграл «Рассказ Франчески». Я не слышала, как он играл: я волновалась. И смотрела на своих соседей: некоторые закрыли глаза — так слушают хорошую музыку. Потом захлопали... Хлопали все, но не очень долго. Может быть, Леве лучше было уйти за кулисы: тогда бы его нужно было вызывать обратно на сцену и хлопали бы силь-

нее. А так все сразу поняли, что он будет играть еще, и не очень старались.

Я думаю, что артист должен казаться со сцены недоступным и загадочным. Так даже и зрителям интересней. Ну разве приятно представить себе, что артист такой же точно человек, как ты сам? Что можно запросто подойти и хлопнуть его по плечу...

А Лева вдруг улыбнулся так, словно был у себя дома, махнул рукой и заиграл свой любимый «Полет шмеля».

Ему снова аплодировали, но уже меньше, чем первый раз. Неожиданно на сцену, деловито глядя на свои ручные часы, выбежал Роберт-организатор. Он что-то зашептал моему брату на ухо. Лева вновь по-домашнему улыбнулся и объявил следующий номер...

Не успел он кончить, как Роберт-организатор опять показался из-за кулис. Он по-прежнему деловито смотрел на часы и одновременно пожимал плечами. Подошел к Лева и опять зашептал ему что-то на ухо. А мой брат добродушно, безвольно закивал головой: дескать, согласен, пожалуйста... Представляете?

Мне стало страшно: неужели он будет снова играть? По плану, который я составила дома, я должна была встать и попросить: «Сыграй, Лева, еще... Я прошу тебя». Сейчас мне хотелось вскочить и крикнуть: «Я прошу тебя: перестань играть!»

В будущем я, конечно, буду ходить с братом на все его концерты. Я научу его быть гордым! Пусть зрители сначала попросят, поваляются у него в ногах... А потом уж он что-нибудь сыграет на «бис».

Разве артист может быть таким сговорчивым? Он должен быть загадочным и недоступным!

Наконец Лева кончил.

— С добрым утром! — сзади воскликнул Рудик. И сделал вид, что проснулся. Но я уже не обращала на него никакого внимания.

— Поприветствуем наших гостей! — крикнул Роберт-организатор. — Поздравим их с Новым годом!

До Нового года было еще целых пять дней, но все завопили со своих мест: «Поздравляем!»

Тут и Лиля впервые поднялась со своего стула. Неторопливо собрала ноты, сдержанно поклонилась и указала рукой на Лева: дескать, главная заслуга принадлежит ему! Она вела себя как на настоящем концерте.

А Лева вновь по-домашнему улыбнулся, будто в зале сидели его родственники. Представляете? Это было ужасно!

Но самое страшное все-таки было еще впереди. Уже совсем близко, совсем рядом...

Об этом я напишу завтра. Потому что мама уже два раза говорила, что мне пора спать. Она понять не может, что я пишу. Заглядывать ей неудобно. Другие родители не стесняются: заглядывают к своим детям в тетрадки и даже вырывают из рук. Но моя мама себе этого не позволяет: она очень интеллигентна. Лева похож на нее.

Сначала мама думала, что я пишу домашнее сочинение. И была даже рада. Но я сказала, что это не сочинение, а что именно, не сказала.

— Если б ты с таким увлечением делала уроки! — воскликнула мама. — Совсем не думаешь о своем будущем.

Но я как раз думаю о будущем! Поэтому я и веду дневник.

28 декабря

Перед вторым отделением вечера из зала вытащили все стулья. Свалили их в коридоре. И сразу коридор стал узким, а зал раза в два больше, чем был. На сцене поставили искусственные елочки с игрушками.

— Ах, какая прелесть! — визжали девчонки. — Как необычно! Оригинально! Синтетика!..

Десятиклассницы почему-то любят синтетику. Я все же не верю, что искусственные елки нравились им больше, чем настоящие — те, которые пахнут лесом и снегом, им просто хотелось визжать и выражать восторги. Они были в приподнятом настроении.

Девчонки меня вообще раздражали. Все они выглядели роскошно! В раздевалке это было не так заметно, потому что они еще были не при полном параде, а некоторые в пальто. Ну, а иметь модное пальто гораздо труднее, чем модное платье. Поэтому женщины выглядят зимой не так нарядно, как летом. Я на это давно обратила внимание.

Когда девчонки сидели в первом отделении на концерте, платья были не так видны. А теперь уже все сияли своими глубокими вырезами!

Я очень сильно от всех отличалась. У меня было глухое девчачье платье. Воротник доходил до самого подбородка. Я тоже хотела однажды сшить себе платье с вырезом, но портниха

сказала, что мне это будет невыгодно, что мне еще печего обнажать. Прямо так и сказала: «Тебе еще нечего обнажать. Твои ключицы выпирают, как какие-нибудь металлоконструкции...» Правда, неплохо? Я давно обратила внимание: частные портнихи очень развязны. Потому что все перед ними заискивают и смотрят им в рот, как каким-нибудь мудрецам.

В общем, девчонки выглядели очень роскошно. И я сильно проигрывала на их фоне. Это уж точно. Но зато рядом со мной стоял мой брат Лева, будущий великий мастер кларнета! Я взяла его под руку. И девчонки поглядывали на меня с завистью. Не многим из них приходилось прогуливаться под руку со студентом консерватории!

— Что он тебе шептал на ухо? — спросила я Леву.

— Должен был приехать певец...

— Из ресторана?

— Кажется, да. И он просил меня поиграть...

— Он бы еще пригласил для этого Гилельса! Тянуть время, пока не придет певец из «Варшавы»!..

— В принципе мне было нетрудно их выручить.

Это любимое Левино занятие — кого-нибудь выручать. Некоторые его приятели уже успели жениться. Представляете? Поторопились! К Леве приходят перед экзаменами и когда ссорятся с женами. И он всех выручает. Боюсь, как бы на это не ушли все его силы. А певец из ресторана так, значит, и не появился. Роберт со сцены объявил, пропуская глаголы:

— Небольшая накладка: певец из ресторана «Варшава» — увы! Но Варшава — здесь, с нами! Наша любимица Алина в сопровождении школьного джаз-оркестра! Польские эстрадные песни!

Мальчишки завопили: «Ура!» Старшеклассницы чуть-чуть похлопали. Совсем чуть-чуть: они не любят Алину, они завидуют ей.

Я не завидовала Алине: у нас в школе она, как говорится, вне конкурса. А тем, кто вне конкурса, глупо завидовать. К тому же мне нравилось, что девчонки со своими глубокими вырезами сразу присмирели, повесили носы. Они знали, что мальчишки будут восторгаться Алиной, а соперничать с ней бесполезно.

Так иногда женщины выходят грустные из кино после картины, где главную роль играет красавица. Я обратила внимание: они даже некоторое время не смотрят на своих спутников. Наверно, боятся, что те будут сравнивать. Нет, я никогда не выйду замуж. Это уж точно.

Алина на наших вечерах всегда поет джазовые песенки на польском языке. Когда она вышла на сцену, я захлопала ей изо всех сил за то, что она посадила на место всех наших девчонок.

Девочки явно грустили и со злостью поглядывали на Алину. А некоторые храбрились и неестественно хохотали. Я заметила, что женщины часто смеются тогда, когда им хочется плакать.

Вообще-то я тоже не люблю красивых девчонок. Они все время помнят о том, что они красивые, и с ними поэтому очень трудно иметь дело. Но вчера я была благодарна Алине еще и за то, что не приехал певец из ресторана «Варшава», которого все ждали больше, чем Леву. Хотя Алина не имела к этому ровным счетом никакого отношения. Но она выступала вместо певца, и я ей за это хлопала. Вернее сказать, и за это тоже. А еще я хотела, чтобы Лева понравился школьный вечер, на который я его притащила. И поэтому я зашептала ему на ухо:

— Алина прекрасно знает польский язык. Как русский!..

Алина не только поет по-польски, но и работает под красавицу польку из журнала «Экран». Она яркая блондинка, с прямыми волосами, которые спадают на лицо, даже закрывая один глаз.

— У нее волосы абсолютно свои,— шепнула я Леве.

— В каком смысле?

Лева не понимает элементарных вещей, потому что он «не от мира сего», как говорит мама.

— В том смысле, что она их не красит,— объяснила я.— Это ее естественный цвет...

Алина пела тихо, и все в зале, особенно мальчишки, просто боялись дышать. А Алина дышала вовсю. Так по крайней мере казалось, потому что она дышала в микрофон.

Я немного шепелявлю и с детства как-то враждебно отношусь к шипящим буквам. Я уверена, что это самые неблагозвучные буквы во всем алфавите. Недаром ведь в художественных произведениях положительные герои никогда не «шипят», а «шипят» отрицательные.

Но когда Алина поет свои польские песенки, мне начинает казаться, что шипящие не так уж плохи. Слова, которые она почти что шепотом произносит в микрофон, состоят от начала до конца почти из одних шипящих, а получается довольно-таки красиво и задущево.

Мальчишки аплодировали как безумные и даже свистели, что является у них высшим выражением радости и восторга.

Леве после его «Франчески» никто не свистел. Это было обидно. Но я заметила, что, аплодируя Алине, многие тайком поглядывали на Лева. Еще бы! Всем интересно было, как оценит ее пение студент консерватории. Профессионал! Ну и типы же эти старшекласники: ни за что в открытую не признают, что студент консерватории для них авторитет. Для них вообще не существует авторитетов! А исподтишка будут подглядывать, как он реагирует. Ну и типы!..

Лева заметил это и, засунув свой черный футляр под мышку, стал хлопать так, будто был на концерте Давида Ойстраха. Я решила, что он хочет доставить мне удовольствие: ведь я так нахваливала Алину!

Когда Алина кончила петь, она решила прямо со сцены прыгнуть в зрительный зал. Это было, конечно, очень эффектно. Мальчишки, забыв про своих девиц, бросились ей помогать. И тут произошло что-то совершенно неожиданное: наш Лева, всегда такой медлительный и неповоротливый, тоже подскочил к сцене и протянул Алине левую руку. Правой он держал старинный дедушкин футляр.

Мне было обидно, что Левина рука как-то затерялась в толпе других рук и ничем от них не отличалась. И сам Лева как-то затерялся среди старшекласников. Но Алина со сцены разглядела Левину руку и, представьте себе, оперлась именно на нее. Да, на нее! Наш Лева весь покрылся красными пятнами, будто кто-то надавал ему по физиономии. Вообще-то он часто краснел. Но всегда для этого были какие-то основания. А тут он покраснел без всяких оснований.

Когда Алина прыгнула в зал, Лева поблагодарил ее. За что, спрашивается? За что? Это она должна была сказать «спасибо»: ведь он протянул ей руку, а не она ему. Происходило что-то странное.

Наш школьный эстрадный оркестр заиграл танго. «Сейчас во время танца скажу Леве, что вовсе не считаю Алину своей подругой,— решила я,— и не требую, чтобы он ради меня так перед ней вертелся!» В эту минуту брат наклонился ко мне. «Ага, не забыл своего обещания! — подумала я. И вытерла ладони о холодную стену, покрашенную масляной краской: они у меня немного вспотели.— Сейчас я впервые буду танцевать на вечере старшекласников!..»

— Подержи, пожалуйста,— поспешно проговорил Лева. И старинный дедушкин футляр оказался у меня под мышкой.

А Лева опять уже был возле сцены и протягивал руку Али-

не: он приглашал ее танцевать. Я снова вытерла ладони о холодную стену.

О, как я ненавидела Алину в этот момент! Я ненавидела даже ее имя — такое редкое и красивое. Меня-то ведь все звали просто Женькой. «Имя среднего рода, — шутил отец, — не поймешь: женское или мужское». Ничего себе представление о справедливости: сам же всучил мне это имя в честь какой-то своей любимой тетушки и сам же острит! Я не видела эту тетушку ни разу в жизни: она умерла за десять лет до моего рождения. И было непонятно: почему родители решили преподнести ей подарок за мой счет?

Все наши девицы с их глубокими вырезами сразу стали казаться мне милыми и симпатичными по сравнению с Алиной. Она заставила Леву бросить сестру, которая решила посвятить ему всю свою жизнь! Но даже не в этом дело. Она заставила моего брата вести себя так, будто он ничем не отличался от десятиклассников, которые все были в нее влюблены. И за это я ее ненавидела!

Алина все время, не отрываясь, смотрела на Леву в упор и как-то слишком многозначительно. Притворство! Сплошное притворство! Лева не мог нравиться ей, как ему не могли нравиться всерьез ее эстрадные песенки. Сутулый, нескладный, в костюме, который всегда кажется чужим и мятым, Лева абсолютно не в ее вкусе. Все дело в том, что он студент консерватории, что у него блестящее будущее! Вот она и смотрела в упор, будто старалась его заморозить.

Но, к счастью, Лева не замечал этого взгляда: он опустил голову и изучал свои ноги. Он всегда смотрит на свои ноги, когда танцует.

Никто не обращал на меня никакого внимания. Я стояла одна и прижималась спиной к холодной стене, чтоб не мешать танцующим. Меня толкали и даже не извинялись. А некоторые спрашивали, как та десятиклассница в раздевалке: «Женька, как ты сюда попала?», «А ты как здесь очутилась, Женька?» И некому было меня защитить: мой брат танцевал с Алиной!

Тут я вспомнила про Лилю. Лева даже не поинтересовался, где находится его «аккомпанемент». Ничего себе рыцарь!

Я вспомнила, как Лиля однажды сказала: «Профессиональный артист не должен появляться среди зрителей в день своего выступления».

«Умница! Конечно, не должен! — думала я. — Тогда он будет загадочным и недоступным. А иначе он станет для всех

обыкновенным человеком, абсолютно равным и неинтересным. Как мой брат, которому десятиклассники преспокойно наступают на ноги. Будто он и правда ничем от них не отличается, словно это не он будет участвовать в конкурсе музыкантов-исполнителей!»

После танго Лева подошел ко мне такой красный, будто ему еще раз надавали пощечин. Он был очень взволнован. Я его таким никогда не видела. И не хочу больше видеть!

— Ты же поклялся танцевать только со мной,— сказала я.

— В принципе ты права,— ответил он мне, еле переводя дух.— Но я умею танцевать только танго... Ты же знаешь. В твисте я выглядел бы очень смешно...

— А вообще не танцевать с ней ты не можешь? Эта мысль тебе не приходит в голову?

Когда люди, которые «не от мира сего», совершают ошибки, с ними надо говорить резко и прямо. Во имя их же спасения!

Но я не успела спасти своего бедного брата. Оркестр заиграл твист. И Алина, отбиваясь от мальчишек, которые приглашали ее, сама подошла к Лева. Представляете? Сама подошла! Вот так красавица! Вот так гордячка! Совсем потеряла совесть. И Лева пошел танцевать твист, который он танцевать не умел.

Алина его учила. Теперь они оба смотрели на ноги. Она учила Леву всего-навсего танцевать, но вид у нее был такой покровительственный, будто она объясняла ему, как надо жить на белом свете.

А я снова прижималась к холодной стене. Меня снова толкали и спрашивали, как я пробралась на этот вечер.

Нормальные люди выставляют напоказ то, что им выгодно выставлять. А то, что невыгодно, прячут подальше. Мой брат плохо танцует, а Алина заставляла его выделять самые трудные па. Зачем? Может быть, она хотела выставить его на посмешище перед своими приятелями? Они ведь тех, кто плохо танцует, вообще за людей не считают.

По крайней мере десятиклассники уже поглядывали на моего брата свысока и даже с насмешкой: в танцах они были сильнее его. Алина дала им возможность почувствовать превосходство над моим братом, и за это тоже я ее ненавидела.

Я мечтала, чтобы наш школьный эстрадный оркестр, который я всегда любила слушать, поскорее умолк. Но он не умолкал до тех пор, пока снизу не пришла гардеробщица и не сказала Роберту-организатору:

— Я ваши вещи до утра караулить не собираюсь...

Тогда вечер закончился.

Ко мне подошел Лева и протянул руку за старинным де-душкиным футляром. Я спрятала футляр за спину и сказала:

— Кажется, он тебе уже не пригодится.

— В каком смысле?

— В том смысле, что ты, кажется, собрался поступать в хореографическое училище? Но лучше поступи в цирковое: там учат на клоунов. Ты сегодня неплохо выступал в этом жанре.

Может быть, я говорила с Левой слишком прямо и резко. Но я имею на это право. Ведь я решила посвятить ему всю свою жизнь. И я должна спасти его от Алины! Чему она может научить моего брата? Петь эстрадные песенки? Что между ними общего? Да и вообще Лева сейчас не имеет права влюбляться! Он должен готовиться к конкурсу. И заниматься с утра до вечера. А не влюбляться! Я должна спасти его, уберечь. И я это сделаю!

Но спасти Леву будет не так легко. Ведь он «весь в себе». А когда люди, которые «все в себе», втемяшат что-нибудь себе в голову, им невозможно ничего объяснить. Они, как очумелые, прут на рожон.

— Алина одна. А сейчас уже поздно,— сказал Лева.— Мы проводим ее до дома.

— Единственное, что ей не угрожает,— это одиночество! — воскликнула я.— Вот увидишь: все наши кавалеры за ней поплетутся...

Зачем я произнесла эту дурацкую фразу? На мужчин, я заметила, ничто так сильно не действует, как успех женщины сразу у многих. Это и на мальчишек тоже распространяется. Поэтому-то, я заметила, почти в каждом классе обязательно есть какая-нибудь общепризнанная красавица. И чаще всего она ничуть не красивее других. Просто однажды в нее случайно влюбились двое мальчишек сразу. А остальные подумали: раз за ней бегают сразу двое, значит, она того заслуживает. И пошла цепная реакция!

Когда я произнесла роковые слова о том, что Алине не грозит одиночество, Лева как-то болезненно улыбнулся, беспомощно развел руки в стороны (дескать, что тут поделаешь!) и сказал:

— Да, я понимаю... Она пользуется успехом.

— Дешевым успехом! — воскликнула я.

Но исправить ошибку уже было нельзя. И мы пошли прово-

жать Алину. А дом ее находится в совершенно противоположной стороне от нашего дома.

Я почти всю дорогу молчала. По правде сказать, я в присутствии Алины почему-то робела. И даже помимо воли иногда ей поддакивала. И Лева поддакивал всякой ее ерунде. Я поглядывала на него с изумлением. И даже с испугом: мне казалось, что он поглупел и вообще стал каким-то совсем другим человеком. Впрочем, я вспомнила, что многие великие люди любили ничтожеств и в их присутствии изрядно глупели. Неужели и моего брата ждет такая судьба?

Алина же просто не закрывала рта. Но говорила она в свой меховой воротник.

— Берегу горло,— объяснила она.

Вы слышали? Значит, она воображает себя певицей! Ее горло представляет, видите ли, такую огромную ценность, что его надо беречь! В общем, мне пока что так и не посчастливилось услышать ее настоящий голос: пела она в микрофон, а говорила в меховой воротник.

— В принципе вам всегда следует держать горло в тепле,— изрек мой брат Лева.

Эта фраза Алине очень понравилась, и она в благодарность призналась Лева, что кларнет — ее самый любимый музыкальный инструмент. Представляете? Она, оказывается, может слушать кларнет с утра и до вечера.

И еще может сутками слушать саксофон.

Хорошо, что она не сравнила кларнет с барабаном. Или с какими-нибудь другими ударными инструментами. Я думала, Лева содрогнется оттого, что его любимый кларнет поставили в один ряд с саксофоном. Но Лева не содрогнулся. А наоборот, согласился с Алиной:

— Да, саксофон обладает оригинальными средствами музыкального выражения...

Но самое непонятное было то, что и я зачем-то сказала, что люблю саксофон. У этих красивых девчонок удивительная власть над людьми! И способность превращать всех кругом в абсолютных кретинів!

— Сразу после Нового года,— сказал Лева,— у нас будет концерт студентов второго курса. В Малом зале консерватории...

Меня раздражает Левина манера все уточнять. Ну какая разница, в Малом или Большом зале будет концерт! Можно было просто сказать: «В зале консерватории». И обязательно надо

уточнять, что он учится на втором курсе, а то, не дай бог, подумают, что на пятом! И свой будущий конкурс он всегда величает полным именем: Всероссийский конкурс музыкантов-исполнителей на духовых инструментах. Хотя можно сказать просто, гораздо короче: конкурс музыкантов-исполнителей. Пусть думают, что вообще всех музыкантов, и не всероссийский, а всесоюзный или даже международный! Нет, Лева должен сказать все точно, как есть. Станный характер!

— Для меня будет большим подарком, если вы придете на этот концерт,— сказал Лева.

Можно было подумать, что он приглашает Мстислава Ростроповича: большим подарком!

— Дайте мне свой телефон: я позвоню накануне,— сказала Алина.

Как всякая красавица, она, конечно, очень занята!

— Нет, вы можете не дозвониться. Лучше договоримся прямо сейчас,— настаивал Лева.— Правда, Женя, так лучше?

— Конечно,— сказала я.

Мне хотелось обругать брата за его приглашение, а я сказала: «Конечно». Мой язык просто сошел с ума! Я была под сильным гипнозом.

Наконец Алина согласилась прийти. Еще бы: ведь она так любит кларнет!

— Мы будем ждать вас у входа,— сказал Лева.

Сомнений не оставалось: он был влюблен!

— А вы мне преподнесите ответный подарок! — уже прощаясь, кокетливо сказала Алина.

Лева сделал такое лицо, словно готов был отдать ей все, что она пожелает.

— Согласитесь солировать в нашем эстрадном оркестре! Это будет так оригинально: музыкант-профессионал выступает со школьным джазом!..

Я поперхнулась холодным воздухом. А Лева преспокойно ответил:

— В принципе это возможно...

— Замётано! — сказала она. И скрылась в дверях.

Я тут же освободилась от ее гипноза.

— Ты еще будешь играть в фойе! Как наш бедный дедушка! — крикнула я Лева.— Помяни мое слово: этим все кончится!..

Вся моя жизнь под смертельной угрозой. Вся моя жизнь! Если Лева станет играть в школьном джазе, ему это может понравиться: ведь у него такая опасная наследственность по линии дедушки. И потом, он в самом деле может захотеть выступить в фойе, перед началом сеансов. А люди будут жевать бутерброды.

Тогда я уже не смогу посвятить ему всю свою жизнь. Музыканты, которые играют в фойе, не имеют права быть «не от мира сего», и им как-то не принято посвящать свою жизнь. На это имеют право только великие музыканты!

А если Лева не станет великим или по крайней мере известным? Что я тогда буду делать? Тогда все мои планы летят кувырком. Я, как мои одноклассницы, должна буду придумывать себе будущую профессию, и зубрить, и гоняться за отметками. Я должна буду стать такой же, как все...

Но я думаю, конечно, не о себе. Дело в Леве! Ради него я пойду на все! Настоящие сестры часто вмешиваются в личную жизнь своих братьев. И не требуют благодарности. Я тоже вмешуюсь! Лева забудет Алину, и хорошо подготовится к конкурсу, и завоюет там первое место! И тогда я смогу посвятить ему всю себя, без остатка!

— Неужели ты не видишь, что она вся неискренняя и фальшивая? Вся насквозь! — сказала я Леве. — Кларнет — ее любимейший инструмент! Да есть ли на свете хоть один нормальный человек, для которого кларнет был бы самым любимым инструментом? Есть ли такой человек? Нету такого!

— Это твоя личная точка зрения, — сказал Лева.

— Это факт, а не точка зрения! Я надеялась, что ты станешь первым в мире великим кларнетистом! Но напрасно... И неужели ты думаешь, что она в самом деле знает польский язык? Просто выучивает слова и бессмысленно их повторяет. Сейчас любой певец, даже откуда-нибудь из Гваделупы, поет «Подмосковные вечера» по-русски. И что же, по-твоему, он знает русский язык?.. Так и она. Просто глупо было подумать, что она понимает по-польски. И волосы у нее крашенные...

— А может быть, у нее вообще парик? — с улыбкой перебил меня Лева. Он готов был ее защищать. Это было ужасно. — Раньше ты говорила другое: и про волосы и про польский язык. Нельзя же так быстро менять свое мнение. И поддакивала ей, когда мы ее провожали.

— Я иронически ей поддакивала. Как бы в насмешку...

— Прости, я не почувствовал этой иронии. К тому же она бы была неуместной.

— Ты ее любишь?! — воскликнула я.

Он ничего не ответил. Но я понимаю: разговаривать с ним бесполезно. Я должна действовать! И я буду...

30 декабря

Сегодня последний день второй четверти. Мы, конечно, написали на доске мелом: «Последний день — учиться лень!» Учителя читают и делают вид, что сердятся.

Завтра каникулы! Я обожаю каникулы. Учителя отдохнут от нас, а мы отдохнем от них. И у всех поэтому хорошее настроение.

На переменках старшеклассницы носятся по коридору, шушукуются, договариваются, кто с кем будет встречать Новый год. Я давно заметила, что о самых простых вещах они почему-то любят говорить шепотом и с таинственным видом. Так им интереснее!

И учителя, конечно, тоже будут встречать Новый год. На уроке литературы я старалась представить себе, как они это будут делать. Я вообще часто стараюсь представить себе жизнь наших учителей. Особенно учительниц. Какие у них мужья? И как у них дома? Неужели даже наша химичка, которая ни разу за два года не улыбнулась и называет нас всех на «вы», дома тоже целует мужа? И он целует ее?.. Интересно, как это все происходит? Но это же происходит, потому что у нее на руке кольцо. Толстое, старомодное, но все-таки обручальное! Значит, дома она целуется... Представляете? И у нее, может быть, даже есть дети...

У всех хорошее настроение. Даже химичка пожелала нам полезного отдыха. Не счастливого, а полезного!

Но у меня на душе тяжело. Что-то висит. Это висит Алива! Я ведь нарочно развлекаю себя разными посторонними мыслями, чтобы забыться.

Но забыться я не могу: Лева будет играть с нашим школьным джазом! Солировать! А потом докатится до фойе. Если я его не спасу!

Пишу на уроке... Я заметила: последние дни и часы (в пионерлагере, или в поезде, или в школе) всегда тянутся страшно медленно. Просто сил нет.

Но вот наконец звонок! Не забыл нас, родименький! Иду на перемену...

Начался самый последний урок. Математичка терпеть не может, когда отвлекаются. Если заметит, тут же вызовет отвечать. Конечно, обидно погибнуть в последнем бою, но я должна немедленно записать всё в свой дневник. Я должна рассказать о том, что произошло буквально минуту тому назад, на перемене. Я сделала смелый, решительный шаг! Ради Левы, ради его музыкального будущего! Оценит ли он это когда-нибудь?

На последней перемене старшеклассницы продолжали носиться по коридору, шушукаться и обниматься (они очень любят обниматься друг с другом).

Алина ни к кому не подбегала: все подбегали к ней, потому что она у нас прима, она вне конкурса.

Но ко мне Алина направилась сама, а я даже не шелохнулась, ни одного шага не сделала ей навстречу. Она улыбалась мне своим длинным и красивым глазом, который почему-то напоминал мне вытянутую голубую раковину. А второго ее глаза я никогда не видела: он всегда закрыт прямой, золотистой прядью волос.

Она притянула меня к себе, чуть-чуть нагнулась и прижалась ко мне щекой. Представляете? Наши семиклассницы просто попадали от зависти. Мысленно, конечно, попадали. А я даже не шелохнулась.

— Какие у нас показатели? Дед-Мороз будет доволен? — спросила Алина.

Я решила на этот раз ни за что не поддаваться ее гипнозу. Ни за что!

Показатели, то есть отметки за вторую четверть, у меня очень неважные.

— Какое это имеет значение? — ответила я.

Она снова прижалась ко мне щекой. И наши девчонки снова попадали. Но я была холодна и спокойна.

Я знаю, что невесты обычно хотят подружиться с родителями своих женихов, заполучить их себе в союзники. Алина до мамы с папой еще не добралась, она начала с меня. Это мне было понятно. И я к ней прижиматься не стала.

— Поздравляю тебя с Новым годом, — сказала Алина. — И всех наших общих знакомых!

На общих знакомых она сделала такое ударение, что мне стало просто не по себе. Никаких общих знакомых у нас не было: она говорила о Леве.

— Увидимся в новом году,— продолжала она.— Место встречи и время всё те же?

Тут я и сделала свой решительный шаг.

— Вы знаете, Лева очень просил извиниться...— сказала я ей тихо, чтобы не слышал никто другой.— Наша встреча не состоится.

— Не состоится? — Словно желая разглядеть меня получше, она отбросила золотистую прядь, и я первый раз увидела оба ее глаза одновременно. Но они в этот миг не были похожи на голубые вытянутые раковины. Они были круглыми от удивления. И мне ее стало даже немножко жалко. Но я подавила в себе эту слабость. Если Лева действительно нравится ей, то тем хуже: не хватало еще, чтоб у них началась любовь накануне конкурса музыкантов-исполнителей!

— У него есть невеста,— сказала я.— И ей было бы неприятно... Вы понимаете?

— Он обручен? — спросила она уже с насмешкой. Но эта насмешка была какая-то беспокойная, нервная.

— Ну да... Можно сказать, обручен. Очень давно, прямо с детского возраста. Со своей аккомпаниаторшей.

— С этой...

— Ну да,— перебила я,— она некрасива. Но у них общие идеалы! Их сблизила музыка. Они любят друг друга...

Это была ложь во имя спасения брата. Оценит ли он это когда-нибудь?

3 января

Вчера был концерт студентов консерватории... Он начался в семь тридцать вечера, но мы слевой пришли на час раньше и мерзли на улице. Лева, видите ли, боялся, что Алина может перепутать и тоже прийти на час раньше, потому что некоторые концерты начинаются в шесть тридцать. Представляете?

Мы бы, наверно, совсем окоченели, если бы Лева не казалось, что каждая со вкусом одетая девчонка, которая появлялась вдали, это Алина. Мы бежали навстречу, девчонки испуганно останавливались или шарахались в сторону. А мы извинялись и возвращались на свой пост к подъезду. Так мы хоть немного согрелись.

— Интересно, как ты будешь держать кларнет замерзшими пальцами? — сказала я.— Хорошо еще, что ты играешь не на рояле. И не на скрипке. Иди!.. Я сама ее встречу.

Куда там! Лева и слышать об этом не хотел. Мама всегда говорит, что он очень цельный человек. Вообще-то это неплохо. И даже хорошо. Но когда цельный человек влюбляется, с ним ничего невозможно поделать. Ему ничего нельзя объяснить.

Великие люди имеют право на странности, и эти странности им надо прощать. Потому что великий человек, с одной стороны, «весь в себе», а с другой — немножечко не в себе. Это я понимаю. Но ведь Лева вчера был не в себе не как выдающийся человек, а так же, как все наши мальчишки-десятиклассники, которые тоже влюблены в Алину. Вот почему я не хотела прощать! У необычных людей должны быть необычные странности. Когда у Левы появятся такие странности, я их сразу буду прощать! Не задумываясь... Честное слово! А вчера я не прощала...

Лиля считает, что настоящий артист не должен появляться среди зрителей в день своего выступления. А Лева прямо-таки бежал навстречу зрителям, чуть не сшибая их с ног, если ему казалось, что вдаль появилась Алина. Среди зрителей было много Левиных знакомых, и все они спрашивали:

— Кого ты тут ждешь?

И Лева начинал подробно объяснять, что ждет одну десятиклассницу, которая учится в моей школе. Знакомые ухмылялись и глупо подмигивали. Но Лева и в следующий раз отвечал подробно и точно. Он всегда говорит чистую правду, одну только правду. Как будто нельзя было сказать, что мы ждем тетю, дядю или каких-нибудь других родственников. Или, например, маму с папой.

Если Лева звонят по телефону, он всегда подходит, как бы ужасно он ни был занят. Я ему говорю иногда: «Можно сказать, что тебя нет дома?» «Но я ведь дома», — отвечает он. И подходит, хоть ему очень не хочется. Представляете?

Человек не может всю жизнь говорить одну только правду. Мало ли какие бывают случаи! Я уже твердо решила, что во всех этих случаях я буду врать за брата. Раз он сам не умеет! Что тут поделаешь? Пусть это будет еще одной жертвой!

— С ней что-то случилось, — сказал мне Лева. — С ней что-то случилось... А? Как ты думаешь?

— Ничего не случилось! — ответила я. — Она терпеть не может классическую музыку. И кларнет! Ведь я говорила тебе. Предупреждала! Я была уверена, что она не придет...

В этот момент появились мама и папа. Они были торжественные, нарядные и так гордо поглядывали по сторонам, будто все вокруг должны были знать, что их Лева выступает сегодня

в Малом зале консерватории. А этот Лева, которым они гордились, прыгал на одном месте, как воробей.

Папа, когда волнуется, всегда начинает шутить. Но волнение мешает ему быть остроумным.

— Боюсь, твой кларнет будет сегодня чихать и кашлять,— сказал он.

— В чем дело? — воскликнула мама.

Что бы стоило Леве сказать, что мы ждали на улице своих любимых родителей! Что мы продрогли, но ждали! Как бы им это было приятно. Но, к несчастью, Лева всегда говорит одну только правду. И он снова стал объяснять, что мы ждем одну десятиклассницу, которая учится в моей школе. Мама ничего не поняла. Но она была в ужасе оттого, что Лева еще не за кулисами. Ему пришлось отправиться за кулисы. А я обещала подождать Алину.

— Она не придет! — сказала я Леве. — Ей противны классическая музыка, и твой кларнет, и Малый зал консерватории... И даже Большой тоже противен! Но я подожду. Раз ты просишь, я подожду!

Я постояла на улице еще минут пять или десять. Мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь спросил: «У вас есть лишний билетик?» Мне очень хотелось, чтобы на концерт, в котором участвует Лева, стремилась попасть вся Москва. Но никто за билетами не охотился, и мне оставалось только мечтать.

Я мечтала о том дне, когда Лева будет выступать не в общем концерте, а один, в сопровождении большого оркестра. Государственного оркестра СССР! Мы подъедем с Левой к служебному подъезду, там будут его поклонники (не какие-нибудь девицы, которые охотятся за тенорами, а серьезные пожилые люди — ценители музыки!), и я услышу за спиной шепот:

«Это его сестра! Она посвятила ему всю свою жизнь. Он без нее, как без кларнета!»

Представляете?!

Но вчера «лишних билетиков» никто не искал. Хотя когда я вошла в зал, он уже был абсолютно полон. Ни одного свободного места! Нет, одно свободное было... Рядом со мной, где должна была сидеть Алина.

Мама, конечно, стала тут же упрекать меня за то, что я заставила Леву ждать на улице какую-то свою подругу. Я заставила! С ума можно сойти!

И еще она возмущалась тем, что из-за меня в зале «зияет пустое место». Так она и сказала: «Зияет»!

Я, конечно, ничего ей объяснять не стала. Ей вчера вообще ничего нельзя было объяснить. Она была очень напряжена. И все делала неестественно: неестественно долго и внимательно читала программу, в которой было указано, что Лева выступает предпоследним в первом отделении, неестественно улыбалась родителям других участников концерта, которые все сидели в нашем ряду. Весь ряд состоял из одних только родственников. И это было как-то противно. Не могли уж рассадить нас по разным углам.

Мама все время, словно какой-нибудь гид в музее, сообщала мне: «Вон там сидит лауреат! А там сидит трижды лауреат! А там профессор консерватории...» Мамочка очень волновалась. И мне хотелось успокоить ее. Но я не могла ее успокоить, потому что она ничего не слышала и не воспринимала.

И вдруг она схватила меня за руку:

— Что это? Что это значит?!

Я увидела, что из-за кулис выглядывает наш Лева. Он искал нас глазами. Потом нашел, увидел рядом со мной пустое место... Помрачнел, то есть буквально изменился в лице. И скрылся. Мама взглянула на меня. Но что я могла ей объяснить?

Наконец начался концерт. На сцену вышел мужчина с усталым, красивым лицом и седой шевелюрой.

— Он всегда ведет симфонические концерты,— шепнула мне мама.— Ты видела, наверно, по телевизору?

Вид у мужчины был такой, будто он был главным участником концерта. И фамилии знаменитых композиторов он выговаривал так, что я не сразу их узнавала.

Скрипки, рояли и виолончели казались мне в тот вечер просто невыносимыми. Я впервые заметила, что великие композиторы ужасно затягивали свои музыкальные произведения. Их вполне можно было бы сократить! Когда раздавались аплодисменты, я злилась и думала: «Не хватает, чтобы упростили играть еще!» И стоило только мне так подумать, как обязательно играли еще.

Мне казалось, что никогда не дойдет очередь до нашего Левы. Но она наконец дошла. Седой, усталый мужчина произнес и нашу фамилию так, будто это была чужая фамилия. Вышел Лева, а через несколько секунд после него вышла Лиля. Она держалась, как настоящая аккомпаниаторша: не спеша разложила ноты, поправила под собой стул и устремила глаза на Леву, ожидая его команды.

А наш Лева выглядел, как и на школьной сцене, каким-то

слишком домашним. В нем не было никакой недоступности и загадочности.

И костюм его опять казался не новым и мятым, хотя я вчера полдня чистила и отглаживала его.

Я не слышала, как он играл, потому что все время тайком разглядывала зрителей. Но трудно было что-нибудь угадать: смотрели внимательно на Леву — и все... А некоторые закатывали глаза.

Потом раздались аплодисменты. Хлопали не очень сильно, как всегда бывает после первого номера. Все и так знали, что Лева будет играть еще. Но когда аплодисменты затихли, я услышала сзади глухой мужской голос:

— Он сегодня не в форме...

И другой голос, тоже старческий, глуховатый:

— Да, как говорят шахматисты, играет не лучшим образом.

Мама еще до концерта успела мне сообщить, что сзади сидели Левины профессора.

Я боялась взглянуть на маму. Но увидела, как она схватилась за ручку кресла.

Мне хотелось обернуться к Левиным профессорам и сказать: «Поверьте, это я во всем виновата. Я!..»

Ночью я слышала, как Лева ворочался и даже что-то шептал. Вроде бы рассуждал сам с собой. Потом встал и пошел на кухню. Когда он вернулся, я спросила:

— Что? Ты плохо себя чувствуешь?

— Нет... Просто хочется пить. Жажда какая-то... А почему она не пришла? Как ты думаешь, Женька?

И тут я не выдержала.

— Все это по моей вине, Лева... — сказала я.

— По твоей?..

Мне показалось, что в его голосе была радость. Или, вернее, надежда.

— По моей! По моей! — подтвердила я. И все рассказала. В комнате было темно. Я не видела Левиного лица, и так было легче рассказывать.

— В принципе ты поступила подло, — сказал Лева.

Когда резкие слова произносят громко, это значит, что их говорят сгоряча. И, может быть, вовсе не думают то, что говорят. А Лева сказал совсем тихо, спокойно... Значит, он был

уверен, что я совершила подлость. Он был уверен... Мне стало холодно под одеялом.

— Но ведь я хочу посвятить тебе всю свою жизнь,— тихо сказала я.— Я готова пожертвовать...

— Это манера деспотов,— перебил меня Лева.

— Какая манера? — не поняла я.— При чем же тут деспоты?

— Они превращают в свои жертвы тех, ради которых хотят всем на свете пожертвовать.

— Но ведь любящие сестры часто вмешиваются в личную жизнь своих братьев. Они имеют на это право!

— А есть ли вообще на свете такое право? — спросил Лева как бы самого себя.— Хоть у кого-нибудь... Может быть разве такое право?

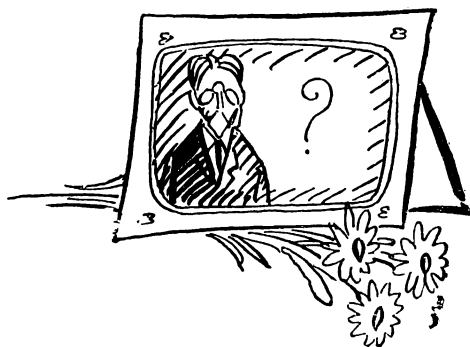
Лева снова лег и поплотней укрылся одеялом. Я села к нему на постель.

— Все-таки хорошо, что она не пришла из-за меня... А не сама по себе. Все-таки хорошо?..

Лева пожал плечами. Это было под одеялом, но я почувствовала, что он ими пожал...

Потом он вдруг улыбнулся. Было темно, но я увидела, что он улыбнулся. И пошла к себе...

Я больше не буду вести дневник. А то, пожалуй, в книге о брате могут не поместить мой портрет с подписью: «Сестра музыканта».



НИНА
ГЕОРГИЕВНА

РОДИТЕЛИ

БАБУШКА

ШУРИК

АНТОН



У нас с отцом одинаковые имена: он Сергей и я Сергей. Если бы не это, не произошло бы, наверно, все, о чем я хочу рассказать. И я не спешил бы сейчас на аэродром, чтобы сдать билет на рейсовый самолет. И не отказался бы от путешествия, о котором мечтал всю зиму...

Началось это три с половиной года назад, когда я еще был мальчишкой и учился в шестом классе.

1

«Своим поведением ты опрокидываешь все законы наследственности,— часто говорил мне учитель зоологии, наш классный руководитель.— Просто невозможно себе представить, что ты сын своих родителей!» Кроме того, поступки учеников он ставил в прямую зависимость от семейных условий, в которых мы жили и росли. Одни были из неблагополучных семей, другие — из благополучных. Но только я один был из семьи образцовой! Зоолог так и говорил: «Ты — мальчик из образцовой семьи! Как же ты можешь подсказывать на уроке?»

Может быть, это зоология приучила его все время помнить о том, кто к какому семейству принадлежит?

Подсказывал я своему другу Антону. Ребята звали его Ан-

тоном-Батоном за то, что он был полным, сдобным, розовоще-
ким. Когда он смущался, розовела вся его крупная шарообраз-
ная голова и даже казалось, что корни белесых волос подсве-
чивались откуда-то изнутри розовым цветом.

Антон был чудовищно аккуратен и добросовестен, но, выхо-
дя отвечать, погибал от смущения. К тому же он заикался. Ребята мечтали, чтобы Антона почаще вызывали к доске: на
него уходило минимум пол-урока. Я ёрзал, шевелил губами,
делал условные знаки пальцами, стараясь напомнить своему
другу то, что он знал гораздо лучше меня. Это раздражало учи-
телей, и они в конце концов усадили нас обоих на «аварийную»
парту, которая была первой в среднем ряду — перед самым учи-
тельским столом.

На эту парту сажали только тех учеников, которые, по сло-
вам зоолога, «будоражили коллектив».

Наш классный руководитель не ломал себе голову над при-
чиной Антоновых неудач. Тут все ему было ясно: Антон был
выходцем из неблагополучной семьи — его родители развелись
очень давно, и он ни разу в жизни не видел своего отца. Наш
зоолог был твердо убежден в том, что если бы родители Антона
не развелись, мой школьный друг не смущался бы понапрасну,
не маялся бы у доски и, может быть, даже не заикался.

Со мной было гораздо сложнее: я нарушал законы наслед-
ственности. Мои родители посещали все родительские собрания,
а я писал с орфографическими ошибками. Они всегда вовремя
расписывались в дневнике, а я сбегал с последних уроков.

Они вели в школе спортивный кружок, а я подсказывал сво-
ему другу Антону.

Всех остальных отцов и матерей у нас в школе почти нико-
гда не называли по имени-отчеству, а говорили так: «родители
Барабанова», «родители Сидоровой»... Мои же отец и мать оце-
нивались как бы сами по себе, вне зависимости от моих поступ-
ков и дел, которые могли порою бросить тень на их репутацию
общественников, старших товарищей и, как говорил наш
зоолог, «истинных друзей школьного коллектива».

Так было не только в школе, но и в нашем доме. «Счастливая
семья!» — говорили об отце и маме, не ставя им в вину то, что
я накануне пытался струей из брандспойта попасть в окно
третьего этажа. Хотя другим родителям этого бы не простили.
«Образцовая семья!..» — со вздохом и неизменным укором
в чей-то адрес говорили соседи, особенно часто женщины, видя,
как мама и отец по утрам в любую погоду совершают пробежку

вокруг двора, как они всегда вместе, под руку идут на работу и вместе возвращаются домой.

Говорят, что люди, которые долго живут вместе, становятся похожими друг на друга. Мои родители были похожи. Это было особенно заметно на цветной фотографии, которая висела у нас над диваном. Отец и мама, оба загорелые, белозубые, оба в ватильковых тренировочных костюмах, пристально глядели вперед, вероятно на человека, который их фотографировал. Можно было подумать, что их снимал Чарли Чаплин — так безудержно они хохотали. Мне даже казалось иногда, что это звучащая фотография, что я слышу их жизнерадостные голоса. Но Чарли Чаплин тут был ни при чем — просто мои родители были очень добросовестными людьми: если объявляли воскресник, они приходили во двор самыми первыми и уходили самыми последними; если на демонстрации в день праздника затевали песню, они не шевелили беззвучно губами, как это делают некоторые, а громко и внятно пели всю песню от первого до последнего куплета; ну, а если фотограф просил их улыбнуться, всего-навсего улыбнуться, они хохотали так, будто смотрели кинокомедию.

Да, все в жизни они делали как бы с перевыполнением. И это никого не раздражало, потому что все у них получалось естественно, словно бы иначе и быть не могло.

Я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете! Мне казалось, я имел право на проступки и ошибки, потому что отец и мама совершили столько правильного и добросовестного, сколько могло бы быть запланировано на пять или даже на целых десять семей. На душе у меня было легко и беспечно... И какие бы ни случались неприятности, я быстро успокаивался — любая неприятность казалась ерундой в сравнении с главным: у меня лучшие в мире родители! Или, по крайней мере, лучшие в нашем доме и в нашей школе!.. Они никогда не могут расстаться, как это случилось с родителями Антона и многих других моих одноклассников и приятелей. Недаром даже чужие люди не представляют их себе порознь, а только рядом, вместе и называют их общим именем — Емельяновы: «Емельяновы так считают! Емельяновы так говорят! Емельяновы уехали в командировку...»

В командировки мама и отец ездили очень часто: они вместе проектировали заводы, которые строились где-то очень далеко от нашего города, в местах, называемых «почтовыми ящиками».

Я оставался с бабушкой.

Мои родители были похожи друг на друга, а я был похож на бабушку — на мамину маму. И не только внешне.

Конечно, бабушка была счастлива за свою дочь, она гордилась ее мужем, то есть моим отцом, но, как и я, то и дело отпирывала законы наследственности.

Мама и отец старались закалить нас, навсегда избавить от простуд и инфекций (сами-то они даже гриппом никогда не болели), но мы с бабушкой сопротивлялись. Мы не желали обтираться ледяной водой, вставать по воскресеньям еще раньше, чем в будни, чтобы идти на лыжах или отправляться в летние походы. Мы печетко выполняли по утрам гимнастические упражнения.

Вообще мои родители то и дело обвиняли нас обоих в нечеткости: мы нечетко дышали во время гимнастики, нечетко сообщали, кто звонил маме и отцу по телефону и что передавали в последних известиях, нечетко выполняли режим дня.

Проводив маму с отцом в очередную командировку, мы с бабушкой тут же, как заговорщики, собирались на экстренный совет. Невысокая, сухонькая, с коротко подстриженными волосами, бабушка напоминала хитрого, озорного мальчишку. А этот мальчишка, как говорили, сильно емаживал на меня.

— Ну-с, сколько денег мы откладываем на кино? — спрашивала бабушка.

— Побольше! — говорил я.

И бабушка откладывала побольше, потому что любила ходить в кино так же сильно, как я. Сразу же мы принимали и другое важное решение: обедов и ужинов не готовить, а ходить в столовую, которая была в нашем доме, на первом этаже. Я очень любил обедать и ужинать в столовой. Там мы с бабушкой тоже вполне находили общий язык.

— Ну-с, первого и второго мы не берем? — иногда говорила бабушка.

В столовой мы часто обходились без супа и даже без второго, но зато неизменно брали селедку и по две порции желе в металлических формочках. Нам было вкусно, и мы экономили деньги на кино!..

С бабушкой я попадал даже на те фильмы, на которые дети до шестнадцати лет не допускались.

— Я очень слаба, — объясняла бабушка контролерам, угрожающе старая и дряхлая у меня на глазах, — он повсюду меня

сопровождает... Обещаю вам, что он не будет смотреть на экран!..

— Пардон, почему же ты все-таки смотришь? — лукаво спрашивала она в темноте кинозала.

«Я очень слаба!» — эта фраза часто выручала бабушку.

— Я очень слаба! — говорила она, спасаясь от того, что мои родители считали совершенно необходимым для продления ее жизни: к примеру, от физических упражнений и длинных прогулок.

Мы с бабушкой были «неправильными» людьми. И это нас объединяло.

В тот год отец и мама уехали в командировку месяца на два.

В неблагополучных семьях родители, уехав из дому, вообще не присылают писем, в благополучных пишут примерно раз или два в неделю, — мы с бабушкой получали письма каждый день. Мои родители соблюдали строгую очередность: одно письмо — от отца, другое — от мамы, одно — от отца, другое — от мамы... Порядок ни разу не нарушался. В конце письма неизменно стояла дата и чуть пониже всегда было написано: «8 часов утра». Значит, отец и мама писали после своей утренней пробежки и перед работой.

— Фантастика! — сказала однажды бабушка. — Хоть бы раз перепутали очереди!..

Я не мог понять: восторгается она моими родителями или в чем-то их упрекает.

Это было отличительной бабушкиной чертой: по ее тону часто нельзя было определить, шутит она или говорит всерьез, хвалит или высмеивает.

В другой раз, прочитав знаменитое «8 часов утра» в конце маминго письма, бабушка, обращаясь ко мне, сказала:

— Ну-с, доложу вам: ваш отец образцовый тренер! Моя дочь уже просто ни на шаг не отстает от него.

И я опять ничего не понял: хвалила ли она моего отца? Или была им недовольна?

Почта не отличалась такой безупречной аккуратностью, как мои родители: письма, отправлявшиеся ими словно по расписанию, попадали в наш облезлый почтовый ящик то утром, то вечером. Но чаще все-таки утром... Я сам вытаскивал их и прочитывал по дороге в школу. Это было удобно во всех отношениях: во-первых, я начинал день как бы беседой с отцом и мамой, по которым сильно скучал, а во-вторых, если я опаздывал на урок, то помахивал вскрытым конвертом и объяснял:

— Письмо от родителей! Очень важное. Издалека!..

И мне почему-то не делали замечаний, а мирно говорили:

— Ну ладно, садись.

О себе отец и мама писали мало: «Работаем, по вечерам изучаем английский язык...» Они изучали его самостоятельно и время от времени устраивали друг другу экзамены. Это меня поражало: никто их не заставлял, никто им не ставил отметок, а они готовились, волновались, писали диктанты. Сами! По своей собственной воле!

Мы всегда особенно горячо восхищаемся поступками, на которые сами не способны,— я восхищался своими родителями.

Рассказав о себе в первых трех строчках, они потом на трех страницах давали нам с бабушкой всякие разумные советы. Мы редко следовали этим советам, но письма читали и перечитывали с большим удовольствием: о нас помнили, о нас заботились... А это всегда так приятно!

В ответ мы с бабушкой предпочитали посылать открытки, которые на почте называли «художественными». Мы были убеждены, что рисунки и фотографии вполне искупают краткость наших посланий. «Подробности в следующем письме!..» — неизменно сообщали мы под конец. Но это «следующее письмо» так ни разу и не было послано.

Однажды утром произошло неожиданное: я вытащил из ящика целых два письма. И на обоих было написано: «Сергею Емельянову». Этого еще никогда не бывало. Получать каждый день по письму я давно привык, но два в день... Это уж было слишком!

Я вскрыл первый конверт.

Сергей! Ты понимаешь, что если я пишу тебе, значит, не могу не писать. Мне сейчас очень худо, Сережа. Хуже, чем было в тот мартовский день... Еще тяжелее. Со мной случилась беда. И ты единственный человек, которому я хочу рассказать о ней, с которым хочу (и могу!) посоветоваться: ближе тебя и меня никогда никого не было и не будет. Это я знаю. Я не прошу защищать меня: не от кого. Никто тут не виноват: все произошло так, как и должно было произойти. Все нормально. Все справедливо! Но бывает ведь, знаешь: все справедливо, все правильно, а тебе от этого ничуть не легче. Я возвращаюсь с работы часов около шести. Если ты зайдешь в любой вечер, я буду очень благодарна. А если не зайдешь, не обижусь. В конце концов, ты

не обязан. И вправе просто не захотеть, как уже было однажды... Это нормально, это можно понять. Но если зайдешь, я буду тебе благодарна. Привет жене. Надеюсь, у вас все хорошо.

Подписи не было. Внизу стояли лишь две буквы: «Н. Е.».

Обычно я читал письма на бегу, иногда спотыкаясь и толкая прохожих. Но тут я остановился.

Кто мог называть моего отца Сергеем? Сережей?.. И обращаться к нему на «ты»? На конверте внизу, под чернильной зеленой чертой, был, как всегда, обратный адрес. Но имени и фамилии не было, а стояли все те же буквы: «Н. Е.» Кто эта женщина? И почему ближе моего отца у нее никого нет и не будет? Так могла написать только мама!

Но это писала не она...

Я перечитал письмо. У меня неприятно дрожали руки. Потом я начал произвольно, шепотом повторять последнюю строчку: «Привет жене. Надеюсь, у вас все хорошо». Эта фраза немного успокаивала. «Какая-нибудь общая знакомая—и все,—убеждал я себя.—Конечно... Раз она знает маму! И пишет: «Привет жене».

Но постепенно голос мой сам собою стал звучать как-то насмешливо, и эти слова выглядели уже издевательски по отношению к маме. Я вспомнил, что отец употреблял слово «привет», когда хотел упрекнуть меня в чем-нибудь: «Опять принес тройку? Привет тебе!.. Опять подсказывал на уроке? Привет тебе!» Может быть, эта женщина научилась от отца употреблять слово «привет» в таком именно смысле?..

— Ты чего гудишь себе под нос? — откуда-то сверху, спускаясь по лестнице, спросил сосед.

Обычно, когда я врал, фразы у меня получались бодрыми, нарочито уверенными, чтобы никто не мог в них усомниться. На этот раз я ответил вяло:

— Учю роль...

— Тоскливую тебе какую-то роль поручили,— сказал сосед, находясь уже подо мной, этажом ниже.

Вдруг я вспомнил о втором письме. В тот день была очередь отца, и мне неожиданно захотелось, чтобы он написал какие-нибудь хорошие, ласковые слова о маме. Но отец ничего такого не писал, он выражал в своем письме много разных надежд: надеялся, что я не буду забывать о математике, а бабушка о своем возрасте... Надеялся, что мы не будем каждый день заказывать селедку, потому что у бабушки в организме про-

исходит зредное отложение солей и забывать об этом неразумно. Как истинный друг школьного коллектива, он надеялся, что спортивный кружок без него не развалится. О маме не было ни единого слова...

Это показалось мне подозрительным. Подозрительным стало казаться мне даже то, что отец всегда уходил на работу вместе с мамой и возвращался вместе с ней. В этом была, чудилось мне в тот миг, какая-то нарочитость, как в моих фразах, когда я врал, но хотел убедить взрослых, что говорю чистую правду.

В школу я опоздал на целых пятнадцать минут. Но почему-то не стал помахивать в воздухе вскрытыми конвертами... Как назло, был урок зоологии.

— Говорят, яблоко от яблони недалеко падает, — сказал наш классный руководитель. — Это, я вижу, не всегда верно: иногда падает очень далеко. Очень!..

3

До того дня жизнь казалась мне настолько простой и ясной, что я редко в чем-нибудь сомневался. Если же сомнения все-таки настигали меня, я почти никогда не шел с ними к отцу и маме: советы их были такими четкими и разумными, что до них вполне можно было додуматься самому. Эти советы легко было произносить, но им трудно было следовать: они подходили лишь для таких образцовых людей, какими были мои родители. Я не был образцовым человеком и чаще всего советовался с бабушкой.

Но в тот день я не мог к ней обратиться: все-таки она была маминой мамой.

Иногда я советовался с Антоном. Он выслушивал меня очень внимательно. У него розовели корни волос, и это значило, что он старается глубоко вникнуть в суть моей просьбы или вопроса.

Потом он говорил:

— Я должен подумать. Это очень серьезно.

Так как в моих сомнениях, как правило, ничего серьезного не было, я вскоре забывал о них. А мой добросовестный друг через день или два отводил меня в сторону и говорил:

— Я все обдумал. Мне кажется...

— Что ты обдумал? — легкомысленно спрашивал я.

Антон отчаянно заикался от чувства ответственности за решение того вопроса, о котором я успел позабыть. Это вызывало во мне раскаяние, и я выслушивал своего друга с таким благодарным вниманием, что корни его белесых волос начинали прямо-таки пылать. Советы Антона тоже редко устраивали меня. Согласно им, почти всегда нужно было жертвовать собой во имя правды и справедливости. А я жертвовать собой не любил.

Но я верил своему лучшему другу. И знал, что если когда-нибудь меня подстережет настоящая опасность, я приду за помощью именно к нему.

И вот опасность возникла. Я еще не мог разглядеть ясно ее лица, но я предчувствовал ее. Это была, наверно, та единственная беда, с которой я не мог прийти к своему лучшему другу. И вообще ни к кому... Никому не мог я сознаться в том, что отец (мой отец!) был и будет для какой-то неведомой мне женщины самым близким человеком на свете. Он не был таким даже для мамы... Она часто повторяла, что «для истинной матери самый дорогой человек — это ее ребенок».

— Таков закон природы! — соглашался отец. Он всегда уважал законы.

Я не мог обратиться ни к бабушке, ни к Антону, и я решил сам защитить наш дом, а заодно и свое спокойствие, свою душевную беспечность, ценность которой сразу необычайно поднялась в моих глазах. Я, ничего еще не свершивший, решил сам защитить то единственное, что отличало меня от многих и чем я гордился: образцовость нашей семьи.

Женщина писала, что приходит с работы часов около шести. В это время я и отправился по адресу, который был написан на конверте внизу, под зеленой чернильной чертой.

Я проехал две остановки на автобусе, прошел немного пешком и остановился возле двухэтажного желтого домика. Над его окнами нависли витиеватые лепные украшения, на которых, как сосуды на лицах пожилых людей, выступили толстые трещины. На таких старых домах часто, будто заплатки из другого, нового материала, сверкают мрамором и золотом мемориальные доски: «Здесь жил... Здесь бывал... Здесь родился... Здесь умер...» На этом доме доски не было, хотя, конечно, немало разных людей в нем родилось, жило и умерло.

Я долго разглядывал желтое, выцветшее здание, потому что вдруг оробел. И что я скажу той женщине, мне было вовсе не ясно. Все вдруг мне стало интересно. Я разглядывал вату меж-

ду оконными рамами, грязную, запыленную, с редкими кружочками конфетти: залетели, должно быть, сюда из комнаты в новогоднюю ночь. Я на все обращал внимание: на просаленные свертки, выставленные в форточки, на сосульки, которые нависли над окнами, тоже как украшение, только новенькое, хрустальное. Что я скажу? Как начну разговор?..

Я вспомнил почему-то цветную фотографию из журнала, которая долгие годы висела у нас на кухне, над столиком одинокой соседки: красавица в купальном костюме, опершись на весло, призывала всех жильцов нашей квартиры: «Путешествуйте летом по рекам!» Одинокая соседка никогда по рекам не путешествовала, и непонятно было, зачем она вырезала и повесила ту фотографию.

Заходя на кухню, отец часто останавливался возле красавицы в купальном костюме и говорил: «Она совершенно права: нет ничего разумнее отдыха на воде!» Отец соглашался с женщиной на фотографии. Это меня раздражало. Я сравнивал ее с мамой и огорчался: женщина с веслом, тоже загорелая, тоже белозубая, тоже с веселыми глазами, была все же красивее мамы. И я всегда старался унизить красавицу: «Знаю таких! Купальный костюм наденут, а плавать не умеют. Весло возьмут, а грести не могут! С теннисной ракеткой расхаживают, а в теннис ни разу в жизни и не играли...»

Прохаживаясь в нерешительности возле старого желтого дома, я мысленно представлял себе, как поднимусь по лестнице, как позвоню в квартиру номер семь (она, вероятно, на втором этаже), как услышу за дверью легкие, ничего не подозревающие шаги, как приму гордую позу, протяну письмо и спрошу: «Это вы писали?» «Да», — ответят мне тихо. «Вам просили его вернуть!..» — и уйду.

Но потом я решил, что так быстро уходить не стоит. Может быть, мне предстоит борьба?

А если дверь мне откроет красавица, вроде той, что коптилась у нас на кухне? И она будет красивее мамы?.. Но, конечно, она не умеет так, как мама, ходить на лыжах и плавать. Не умеет проектировать заводы, имена которых даже нельзя произносить и поэтому они скрываются под номерами. А мама знает все их тайны! И никто, конечно, не восхищается ею так, как мамой! Я расскажу ей все о своей маме, чтоб она и не думала с ней тягаться.

Зарядившись решительностью и гневом, я взбежал на второй этаж. Письмо я держал перед собой... Так жильцы нашего

дома, у которых мы нечаянно выбивали стекла футбольным мячом, прибегая к нашим родителям, всегда торжественно держали впереди себя этот самый футбольный мяч: он был главным свидетелем обвинения.

На двери квартиры номер семь висел список жильцов. «Н. Емельяновой — 3 звонка», — прочитал я. Н. Емельяновой? Что за странное совпадение? Так, может быть, она просто папина родственница? Двоюродная сестра, например? А я о ней ничего не знаю... Забыли мне рассказать о ней — что ж тут такого? Может быть, у нее нет ни родителей, ни мужа, ни ребенка и поэтому мой отец — самый близкий для нее человек? Это вполне возможно. Конечно, это так и есть!

Злость моя сразу прошла. И как тот же футбольный мяч, из которого вдруг с шипением вышел весь воздух, я сразу сник, присмирел. Спрятал письмо в карман. Но потом вытащил обратно: я вспомнил, что у женщины этой случилась беда. Странно, но ни разу за весь день я не подумал о строчках, которые были в письме главными, ради которых и было написано все письмо: «Мне сейчас очень худо, Сережа. Хуже, чем было в тот мартовский день... Со мной случилась беда».

Что за мартовский день? Наверно, в тот день кто-то умер. Или она тогда провалилась на экзаменах, а сейчас кто-нибудь умер... Ведь она пишет, что теперь ей еще труднее.

А зачем я тогда пришел? Просто скажу, что отца нет в Москве, и все. Чтоб не ждала.

Я вновь спрятал письмо и позвонил. За дверью слышались стремительные, нетерпеливые шаги, к двери почти бежали. Эти три звонка были долгожданными. Но ждали, конечно, не меня.

Открыла женщина. В коридоре и на лестнице было полутемно.

— Ты к кому, мальчик? — не сразу, как будто сдерживая разочарование, спросила женщина. И странно было, что это она только что бежала по коридору: вид у нее был усталый.

— Мне к Емельяновой...

— Ты от Шурика?! — вскрикнула женщина. Но вскрикнула еле слышно, как бы про себя. И еще раз повторила уже совсем тихо, с надеждой, боящейся обмануться: — Ты от Шурика?

— Нет... я по другому вопросу...

Войдя в комнату, я вздрогнул и застыл на месте, потому что увидел отца...

Никогда еще я не видел его таким. Он смотрел на меня не своим обычным спокойным или уверенно-жизнерадостным взглядом, а глазами растерянными, словно ищущими чьей-то помощи. И волосы его не были аккуратно зачесаны назад (иногда по утрам он даже натягивал на голову сетку, чтобы ни один волосок не нарушал порядка), — нет, волосы его беспорядочно толпились, спадали на лоб и на уши, которые показались мне очень большими, потому, должно быть, что лицо было худым и узким. На щеках были даже неглубокие ямочки, которых я никогда раньше не замечал.

И одет он был совершенно неузнаваемо... Не было на нем васьилькового тренировочного свитера («Из чистой шерсти!» — объяснил мне однажды отец), не было белоснежной рубашки и безукоризненно завязанного галстука, не было добротного костюма с редкими, еле заметными белыми полосками на темном фоне, а была какая-то помятая косоворотка с незастегнутыми верхними пуговицами. Косоворотка морщилась, потому что была велика для отцовской шеи, которая никогда прежде не казалась мне такой беззащитно-тонкой.

А на другой фотографии отец был в солдатской гимнастерке, которая тоже была ему велика. На бритой голове сидела пилотка со звездочкой. А взгляд был безрадостным, горьким.

— Это я получила в сорок первом году, с фронта. Тогда было очень плохо... — неожиданно произнесла женщина.

Голос у нее был удивительно мягкий, успокаивающий, как у врачей и медсестер, которые однажды лечили меня в больнице. Слова «тяжело» и «плохо» они произносили так, будто знали, что очень скоро все будет легко и хорошо. Грустные слова эти звучали у них без малейшего намека на безнадежность.

Она не могла понять, почему я так долго и пристально разглядываю фотографии на стене. Но не спрашивала меня об этом. И тогда я сказал сам:

— Это мой отец.

Она подошла ко мне совсем близко и стала молча, внимательно смотреть мне в лицо, как это делают люди, страдающие близорукостью. В их откровенном разглядывании не ощущаешь ничего бестактного или бесцеремонного.

Тут и я получше рассмотрел ее. Она и правда была близо-

рука: очки с толстыми стеклами, казавшиеся мне мужскими, не вполне помогали ей — она прищуривала глаза. Трудно было определить, сколько ей лет: лицо было бледное, утомленное, но что-то, какая-то деталь внешности упрямо молодила ее. Потом уж я понял, что это была толстая, темная коса, как бы венчавшая ее голову тугим кольцом.

Когда отец знакомил меня со своими приятелями или сослуживцами, те обязательно говорили:

— Папин сын! Похож. Очень похож!.. От такого не откажешься!

Или что-нибудь вроде этого. Хотя на самом деле я был похож на бабушку, на мамину маму.

Женщина долго рассматривала меня, но не сказала, что я похож на отца. А просто спросила:

— Это отец прислал тебя?

— Моих родителей нет. Они уехали в командировку.

Мне захотелось подчеркнуть, что отец и мама уехали вместе. Но слова «мама» я при ней произнести не смог и поэтому сказал: «родители».

— Надолго они уехали?

— Года на полтора, — неожиданно для самого себя соврал я. И потом еще добавил: — Или на два... Как там получится. — И, чтобы скрыть свое смущение, стал очень подробно объяснять: — А тут ваше письмо пришло. Я утром полез в ящик, думал — от отца, а это от вас... Я его прочитал — и сразу решил...

Тут только я подумал о том, что чужое письмо читать не полагалось, и споткнулся, замолк. Но лишь на полминуты. А потом от нараставшего смущения стал объяснять еще подробнее.

— У нас с отцом одинаковые имена. А на лестнице по утрам темно, плохо видно. Я не разобрал сперва, кому написано... Вижу: Сергею Емельянову. Я и подумал, что мне. Потом вижу: не мне. Но поздно уже было...

Я протянул ей письмо, которое успел выучить наизусть. От этого оно выглядело старым, помятым архивным документом.

— Ты, значит, тоже Сергей? — переспросила она. — В честь отца? Это можно понять. Отец у тебя замечательный. Он много вынес... Особенно в юности. Видишь, какой худой. Заочно учился, работал. Потом добровольцем ушел на фронт. Я не хотела, просила его остаться, а он ушел. Был опасно контужен. Я долго его лечила...

— Вы доктор? — спросил я.

— Да... У него была жестокая бессонница. Спасти его мог лишь спорт. Еще режим дня, дисциплина... Долго я с ним сражалась. Сейчас он нормально спит?

Отец часто с гордостью говорил, что спит, как богатырь, и даже снов никогда не видит. «Какие нынче показывают сны? — шутил он. — Цветные, широкоформатные?» Но я почему-то не решился сообщить ей об этом. И сказал:

— Спит так себе. Как когда...

Прощаясь, она не просила меня передавать отцу привет, не говорила, чтобы он, когда приедет, зашел к ней.

— Как вас зовут? — спросил я уже в дверях.

— Ниной Георгиевной, — ответила она. И улыбнулась: — Лучше поздно, чем никогда. Хотя это можно понять: мы оба с тобой смущались...

«Она была женой отца, — думал я, возвращаясь домой. — Она не сказала об этом, но я уверен. Здесь, в этом стареньком желтом доме, отец был худым и страдал бессонницей. Учился... Заочно, после работы. Наверно, она ему помогала... Отсюда ушел на фронт и сюда же вернулся. Она его лечила... Но почему мне об этом никто никогда не рассказывал? Почему?! Даже бабушка, с которой мы так часто обменивались тайнами. А может, она сама ничего не знает?»

Я слышал, как однажды, в день годовщины свадьбы моих родителей, отец поднял тост за свою первую любовь. То есть за маму... Значит, эту женщину он не любил?

Дома я спросил у бабушки, которая перечитывала Стивенсона или Вальтера Скотта (это были ее любимые писатели):

— Бывает так, что первая любовь приходит потом?.. Человек уже женат, а первая любовь еще не пришла... Так бывает?

— Пардон, я об этом уже забыла. Вот приедет отец — у него и спроси.

— Почему у отца?

Бабушка как-то резко оторвалась от своих любимых приключений, от которых отвлечь ее было не так-то легко, и взглянула на меня серьезно, без своей обычной лукавой улыбки. Конечно, она все знала.

Я смотрел на отца, хохотавшего со стены. На лице у него не было ямочек, шея не была уже худой и незащитной... Мне вдруг стало неприятно смотреть на эту фотографию.

Хотя ведь она сама сказала, что мой отец — замечательный человек. Сама сказала!..

На следующий день я полез в наш старый почтовый ящик не по дороге в школу, а как только проснулся, выскочив на лестницу в трусах и майке. Двух писем на имя Сергея Емельянова прийти уже не могло, это я понимал, а все же я долго не мог попасть тонким, маленьким ключиком в маленький, словно игрушечный, замочек, в который прежде попадал сразу. Я выпул письмо от мамы.

Читать это письмо на ходу я уже не мог. Уселся в ванной, зачем-то заперся и стал внимательно изучать строчку за строчкой, чего раньше ни разу не делал. Всему я теперь придавал преувеличенное значение. И прежде всего отметил, что мамино письмо заметно отличалось от писем отца. Должно быть, и раньше отец и мама писали по-разному, но я не обращал на это внимания. А сейчас вот заметил.

Отец никогда не писал, что скучает по дому, что хочет скорей вернуться, хотя, конечно, скучал. Он считал неразумным растравлять понапрасну себя и нас с бабушкой, если уж командировка выписана на определенный срок и сократить этот срок невозможно.

Отец часто употреблял эти слова: «разумно» и «неразумно».

— Неразумно зря растравлять себя и других,— говорил он.

Мама себя растравляла. Она писала, что все время видит во сне, будто я заболел (в отличие от отца, она видела сны). Она волновалась, не болят ли у бабушки ноги, в которых происходило то самое вредное отложение солей. Мама клялась, что больше никогда не уедет в столь длительную командировку. Она и раньше обещала мне это.

Я слышал, как в последний раз, перед отъездом, отец уговаривал маму:

— Неразумно оставлять объект без присмотра. Это же наше детище!

— Он тоже наше детище,— возражала мама, указывая на меня. Она очень редко не соглашалась с отцом и делала это робко, сама удивляясь тому, что спорит.

Отец говорил об общественном долге, о том, что на нас с бабушкой можно положиться, что мы оба взрослые люди.

— Он, может быть, и взрослый,— кивнула в мою сторону бабушка,— но о себе я бы этого не сказала.

— Зато я скажу за вас обоих! Вы не можете нас подвести!— воскликнул отец.

В споре он часто переходил на громкие восклицания, которые как-то очень быстро решали спор в его пользу.

В этом письме мама вновь жаловалась, что очень тоскует. Она мечтала о том, что́ будет, когда они с отцом возвратятся домой.

Этой мечте было посвящено целых полторы или две страницы.

Мама мечтала, что они с отцом приучат меня вставать рано-рано, в половине седьмого, — и мы все втроем будем бегать до завтрака вокруг двора. Она мечтала, что по воскресеньям мы вчетвером, вместе с бабушкой, будем ходить в музеи и на выставки... Мама уже не первый раз мечтала в письмах обо всем этом, и всегда ее мечты казались мне на расстоянии очень привлекательными. Я готов был вставать ни свет ни заря и бегать по двору (лишь бы мама с отцом скорее вернулись!). Я готов был ходить на выставки и в музеи, хотя мы с бабушкой явно предпочитали кино (лишь бы мама с отцом скорее приходили!).

Но на этот раз мамины мечты и особенно ее слова: «Все снова будет прекрасно! Все будет так хорошо!» — не вызвали у меня той радости, какую вызывали прежде. Странное, незнакомое чувство мешало мне радоваться этим словам. Мне словно бы было немного стыдно за то, что все опять будет «так хорошо».

«Глупости! — решительно сказал я сам себе, прогоняя неприятное, тревожное чувство. — Какие глупости!.. Разве без нее отец не кончил бы институт? Разве другие врачи не могли вылечить его после контузии?..»

В ванную комнату постучались соседи. И я побежал одеваться с той мыслью, которая пришла ко мне последней: отец и сам бы добился всего! Конечно, всего бы добился: ведь я видел, как он мог и сейчас ночами сидеть над чертежными досками, как мог сам (без всякого принуждения!) изучать английский язык, чтобы потом читать всякие научные книги...

В школу я пришел успокоенный, снова довольный всем на свете.

На последнем уроке Антон получил тройку по физике. Он знал все прекрасно, но он смущался.

— Тебе бы лучше отвечать после уроков, один на один с учителем. Ты бы тогда не терялся! — утешал я своего друга. — И не надо выходить к доске, а прямо со своего места... Хочешь, я предложу? Так, мол, и так, в связи с заиканием... Ты ведь

контрольные как здорово пишешь! А почему? Никто на тебя не смотрит!

Сочинения и контрольные Антон писал хорошо, гораздо лучше, чем отвечал у доски. Все считали, что он у меня сдувает. Это было ужасно несправедливо, потому что на самом деле я сдувал у него.

Антон в тот день очень расстроился. Это было написано у него на лице. Лицо было круглое, большое, и на нем легко было все прочитать. Я решил снова утешить Антона:

— Пошли в кино!

— Прости, Сергей... Но я не смогу. Сегодня у мамы нет почтового дежурства. Она будет дома.

Его мама работала телефонисткой.

— Чудак! Ты ничего не понял. Пойдем на вечерний сеанс, с бабушкой. Скажем, что она совсем ослабела и мы вдвоем ее сопровождаем. Понял?

— Прости, Сергей... Мне неудобно тебе отказывать, но когда мама дома...

— Ты сидишь возле нее? Развлекаешь?

Антон думал о чем-то своем и даже не ответил на мой вопрос. Он сказал:

— Не знаю прямо, как ей дневник показать...

— А ты не показывай. Скажи, забрали на проверку. В гор-оно!

— Не могу я ее обманывать. Хватит с нее!

— Чего «хватит»?

— Она говорит: «Если и из тебя ничего не выйдет, я утоплюсь».

— А из кого еще не вышло?

— Ну, это она так считает... что жизнь у нее не удалась. Я очень хочу сделать ей что-нибудь такое... приятное. А приношу домой одни неприятности. Так у меня получается.

Мы дружили с Антоном больше двух лет, но никогда я не был у него дома. Наверно, там было не очень уютно — и он не приглашал.

Маму его я никогда не видел. В тот день она представлялась мне похожей на Нину Георгиевну.

И мне тоже хотелось сделать Нине Георгиевне что-нибудь приятное. Но ведь я даже не спросил, какая у нее беда... Не решился. Или просто забыл: все расспрашивал об отце. Хотя с ним никакой беды не случилось...

Я не хотел, чтобы отец защищал ее, и наврал, что он

вернется через полтора года. Но сам я мог помочь ей! Вместо отца!..

У меня уже не было ее письма, но я знал его наизусть. И как это бывает, в памяти сами собой всплывали то одни, то другие строчки. «А если не зайдешь, не обижусь. В конце концов, ты не обязан. И вправе просто не захотеть, как уже было однажды...» Сперва я не обратил на эти строки внимания. А сейчас вспомнил их. Значит, она уже однажды писала отцу, звала его, но он не пришел? Зачем она его звала? Когда это было?.. И кто такой Шурик, от которого она с нетерпением ждет вестей?

Я готов был ее защищать! Но ведь она писала, что защищать ее не от кого. Может, ей просто нужно, чтоб кто-нибудь выслушал, с кем-нибудь поделиться?..

Защищать, конечно, труднее, чем «просто выслушать». Но на защиту не нужно иметь прав: чтобы защитить человека, надо даже спрашивать его разрешения. А чтобы ты мог «просто выслушать», надо, чтоб тебе рассказали, доверили, чтоб с тобой поделились.

Станет ли со мной делиться Нина Георгиевна? Я не знал.

6

Однако, подходя к желтому двухэтажному домику, я почему-то вновь забыл о ее беде. Я думал только, как бы мне потактичнее узнать, из-за чего они расстались с отцом. Как об этом спросить? Может быть, так: «Из-за чего вы перестали быть вместе?» Эта фраза заставила меня поежиться: трудно было представить себе, что отец был вместе с кем-нибудь, кроме мамы. Лучше спросить просто: «Из-за чего вы развелись?» Или: «Из-за чего разъехались?» Все эти фразы мне как-то трудно и непривычно было произносить...

— Вы поссорились с отцом, да? — спросил я.

Она улыбнулась:

— Не ссорились и не дрались... Просто так получилось. Я ведь гораздо старше Сергея... Все это можно понять.

Я с радостью вдруг подумал, что мама на целых семь лет моложе отца. Должно быть, лицо мое, помимо воли, на миг выразило эту радость. Нина Георгиевна с чуть заметным удивлением поправила очки. И тогда я, чтобы загладить свою вину, слишком уж громко, с грубо подчеркнутым сочувствием спросил:

— У вас какая-то беда случилась?

Ей не хотелось отвечать на такой вопрос. Она и не ответила. А просто подошла к фотографии, на которой был изображен мальчишка лет трех или четырех, в матроске с серебряным словом «Витязь» на ленте, и стала рассказывать как будто самой себе:

— Когда это случилось, я взяла мальчишка из детского дома. Ему было два с половиной года. Он потерялся на войне... Сейчас ему пятнадцать лет и семь месяцев...

Она, конечно, очень любила этого мальчишку, если называла его возраст так точно, по месяцам. Мама тоже так именно говорила о моем возрасте. А отец будто старался сделать меня чуть постарше: «Ему двенадцатый! Ему тринадцатый!» Тогда я сердился на маму за ее точность — манера отца больше устраивала меня: я хотел в ту пору скорее повзрослеть.

В коридоре раздался звонок. Нина Георгиевна побежала открывать с той неожиданной для нее быстротой, которая уже удивила меня накануне. Я даже не успел сказать ей, что в дверь звонили всего один раз. Я сказал это, когда она вернулась.

— К вам ведь три звонка...

— Я знаю, — мягко перебила она меня. — Я только вижу плохо, а слышу пока хорошо. — И продолжала рассказывать как бы самой себе: — Недавно нашли его родители. Так и должно было случиться... Это нормально.

Она не могла больше рассказывать.

Чтоб прекратить молчание, я тихо спросил:

— Его Шуриком зовут?

— А ты откуда знаешь?

— Вы вчера подумали, что я от Шурика... Когда открыли дверь.

— Да... Он уехал к своим родителям. Они остановились за городом, у родных. И все не приезжает... Я знаю адрес. Но ехать нельзя: может быть, родители хотят, чтоб он к ним привык. Это нормально. Это можно понять...

Снова раздался один звонок. И снова она побежала открывать.

А вернулась обратно совсем без сил: ей нелегко было ждать. Она опустилась на диван. И стала говорить, но уже не рассказывать, а как бы рассуждать сама с собой, будто меня и не было в комнате:

— Тогда, много лет назад, мне было трудно. Но сейчас еще хуже... Все-таки он был моим сыном. А теперь оказалось, что

он не мой. Вторая потеря в жизни... Тогда я была еще молодой, были надежды. А теперь ничего уже нет. Приговор окончательный: одиночество.

— Хотите, я съезжу? Туда, за город... И привезу его! Хотите?

Она вздрогнула, будто удивившись, что я слышал ее слова.

— Никого привозить не надо. Кто хочет, сам приезжает... Ты согласен?

Я был согласен, но не сказал ей этого. А сказал совсем другое:

— Вы не будете одна, Нина Георгиевна! Хотите, я буду к вам приходить? Хоть каждый день... Честное слово! Хотите? Хоть каждый день!

7

Желая утешить человека, порой обещаешь ему то, что потом невозможно выполнить. Или почти невозможно.

«Как же я буду ездить к ней каждый день? — рассуждал я, вернувшись домой. — Сейчас еще ничего... А потом, когда вернутся мои родители?»

Если мне нужно было преодолеть какую-нибудь трудность, я начинал убеждать самого себя в том, что делать это совершенно необязательно и даже вовсе не нужно. Так было и сейчас.

Я начал рассуждать: «Ведь я же не сказал ей твердо и уверенно, что буду приходить, а просто задал вопрос: «Хотите, я буду к вам приходить?» И она мне ничего не ответила — ни «да», ни «нет». А ведь если б она хотела, то обязательно бы сказала: «Приходи! Приходи, пожалуйста! Я так буду тебя ждать!» Она ничего этого не сказала. А я возьму и без всякого приглашения буду ходить? И потом, вообще... Когда я сказал «хоть каждый день», это же было, как говорит наша учительница литературы, «сознательное преувеличение, гиперболическое заострение». Она это, конечно, поняла... А я вдруг залажу ходить, будто никакой гиперболы вовсе и не было!»

Одним словом, я убедил себя, что ходить каждый день не нужно.

Но на следующий день пошел...

Дверь мне открыл парень лет пятнадцати. Увидев его, я поправил свою шапку-ушанку, которая одним ухом всегда упрямо сползала мне на лицо, и, хоть был не на улице, застегнул

пальто на все пуговицы. Парень был аккуратный, прибранный. И красивый. У него были волнистые светлые волосы, зачесанные набок, голубые глаза и нежные, розовые щеки.

Вежливо и даже ласково спросил он, кого мне нужно. Я терялся и благоговел перед мальчишками, которые были всего на два или на три года старше меня, гораздо больше, чем перед взрослыми людьми. Особенно я робел перед теми, которые были не похожи на меня, в которых я чувствовал превосходство. Я и тут робел и чуть было не забыл имя-отчество Нины Георгиевны.

— Заходи, пожалуйста,— сказал парень.

Он пропустил меня вперед. Я прошел в копец коридора и постучал в последнюю дверь. Парень удивленно посмотрел на меня: откуда я знаю, куда стучать? Но ничего не спросил. Он гостеприимно распахнул передо мной дверь — и я вновь увидел отца... И опять застыл на пороге. Но парень не торопил меня. Наконец он сказал, не поняв причины моего замешательства:

— Не стесняйся. Заходи, пожалуйста. Она скоро придет.

Мне казалось, он научился мягкости и вежливости у Нины Георгиевны.

Я вошел. Книжный и платяной шкафы были раскрыты, на полу стоял чемодан с откинутой крышкой. Проходя мимо, я заглянул в него: там, на дне, лежал пестрый свитер и несколько книг.

— Раздевайся, пожалуйста. И садись на диван,— сказал парень.— Чтобы не было скучно ждать, почитай книгу.

Не глядя, он вынул из шкафа и бросил на диван толстый том. Это был сборник медицинских статей.

— Разденься, здесь очень жарко,— заботливо повторил он.

Я посмотрел на его отглаженный костюм, на клетчатую рубашку с отложным воротником без единой морщинки, вспомнил о том, что сегодня на большой перемене посадил два свежих чернильных пятна на свою помятую курточку, и не стал раздеваться.

— Не обращай на меня внимания. Я должен собраться,— сказал он.

И стал заполнять чемодан.

Книги стояли на полках плотно, одна к другой, словно в строю. Он вытаскивал некоторые из них, и ряды редели, в них образовывались просветы.

Иногда он задумывался:

— Не помню, моя или нет. Кажется, это мне подарили. Сделали б надпись, все было бы ясно.

Один раз он повернулся ко мне и сказал:

— С вещами легче: там уж не перепутаешь.

Он стал накладывать в чемодан рубашки, трусы, майки. Каждую вещь он предварительно разглядывал, словно был в магазине и собирался ее покупать, разглаживал рукой.

Отдышавшись немного, я подумал, что глупо сидеть на диване в застегнутом на все пуговицы пальто и молчать. И я спросил то, в чем был совершенно уверен:

— Ты Шурик?

Он снова повернулся ко мне:

— А тебе это откуда известно? На лбу у меня вроде ничего не написано.— Он потрогал свой лоб.— А тут написано: «Витязь».

Он указал на фотографию мальчишки лет трех или четырех, в матроске и бескозырке.

— Я был здесь вчера. Нина Георгиевна мне рассказала... Она очень ждала тебя.

Лицо его стало строгим и даже печальным.

— Она меня очень любит,— уверенно сказал он.— И я ее тоже очень люблю. Хотя она странный человечек. Не от мира сего, то есть не от того, в котором мы с тобой проживаем. Добрая очень... И меня бы испортила своей добротой, если бы я не оказывал сопротивления. Это было мне нелегко.— Он вздохнул, словно бы жалея себя за то, что к нему были слишком добры.— У нас даже бывали конфликты. Сейчас, когда я узнал своего отца, я понял, что во мне от рождения — отцовский стержень. Это меня и спасло.

Он продолжал укладывать вещи.

— Я должен был выбрать. У человека не может быть двух матерей. Тем более, что родители мои живут в другом городе. Значит, разлука с Ниной Георгиевной неизбежна. Они ведь тоже очень любят меня. Пятнадцать лет ждали, искали повсюду. Значит, я должен исчезнуть из этого дома и не напоминать о себе. Так Нине Георгиевне будет гораздо легче. Если собаке хотят отрубить хвост, это надо делать в один прием. Так сказал мне отец. А есть, говорит он, добрые люди, которые рубят хвост в десять приемов, по кусочкам. И думают, что так благороднее. Поэтому я и не приходил... Сейчас вот уйду, а потом напишу письмо. Прощаться с глазу на глаз — это невыносимо.

Я не понимал, почему он мне все это говорит.

А он продолжал:

— Мои родители очень благодарны Нине Георгиевне. Хотя и в детском доме мне было бы хорошо: у нас в стране сироты не погибают. Но в домашних условиях, разумеется, было гораздо лучше. Это даже сравнить нельзя. Мои родители хотели на работу ей написать, официально поблагодарить. Но она категорически отказалась. Не от мира сего!..

Я подумал, что его никак нельзя было бы обвинить в «нечеткости». Он, видно, любил поговорить, и все его фразы были обдуманно, какими-то чересчур завершенными. Он твердо знал, что Нина Георгиевна его очень любила. Он твердо знал, что она могла погубить его своей добротой, но что сироты у нас в стране не погибают. Он был уверен, что родители тоже его очень любили. И что внутри у него — отцовский стержень. Он не сомневался, что хвост надо рубить в один прием.

Нину Георгиевну он четко называл Ниной Георгиевной, хотя раньше (мне это неожиданно пришло в голову), конечно, называл ее мамой. Он ни разу не сбился, не назвал ее так, как раньше.

И все же иногда я улавливал в его голосе еле заметное желание что-то объяснить, оправдаться. Поэтому-то, наверно, он и рассказывал мне то, о чем я его вовсе не спрашивал.

— Думаешь, мне нужны эти рубашки и книги? Родители купят мне новые. Я просто не хочу, чтобы они напоминали Нине Георгиевне обо мне. Ей это будет так тяжело... Лучше уж сразу исчезнуть, лучше один раз пережить — и больше не вспоминать. Вот посмотри, на обратной стороне крышки написано: «Шурик Емельянов, второй отряд». Я с этим чемоданом ездил в пионерлагерь, когда был таким, как ты. Она же будет эти слова читать и перечитывать. А зачем? Лучше я заберу чемодан.

У нас с ним была одна фамилия. Это мне не понравилось. И еще я заметил, что от висков у него, словно свалывшийся войлок, свисали белесые космы, которые он еще не брил. И от этого его красивое лицо сразу стало казаться мне неприятным.

Он подошел ко мне, взял за плечи и тоном заговорщика произнес:

— Тебя как зовут?

— Сергеем.

— Помоги мне, Сергей! Дождись Нину Георгиевну. Она скоро придет: у нее день родительских консультаций. Скажи, что я очень переживал, что я мысленно с ней прощался. Расскажи,

как живой свидетель... Тебе все равно надо ее дожидаться! Ты ведь на домашнюю консультацию?

— На какую?

— Как — на какую? Ты разве не пациент? Не из нашей школы?

— Нет, я из другой...

— Ничего не пойму! Я был абсолютно уверен, что ты на домашнюю консультацию...

— На какую консультацию? — снова спросил я.

— Она же в моей школе врачом работает. То есть в моей бывшей школе. И дополнительные консультации устраивает: родителям и ребятам. В школе и даже дома... Сознательность на грани фантастики! Иногда, бывало, просто отдохнуть невозможно: придет какой-нибудь охламон из «неполной средней» и раздевается тут до пояса, дышит, как паровоз, то носом, то ртом. В общем-то, это, конечно, заслуживает величайшего уважения. Только никто ей спасибо еще не сказал. Я, по крайней мере, не слышал. А ты-то зачем пришел?

— Я по другому вопросу.

— По вопросу? Не буду вдаваться в подробности: некогда. Жаль, что ты не из нашей школы: хотел оказать небольшую услугу. Ответную, так сказать!

— Какую? — любопытствовал я.

— Да зачем же тебе, раз не из нашей школы? Хотел вспомнить о шалостях раннего детства...

Он махнул рукой, словно бы стыдясь несолидных детских воспоминаний. Но все-таки стал вспоминать:

— Она ведь почти ничего не видит. И вежлива очень. Даже если не верит, не решается этого показать, чтоб не обидеть. «Не ранить!» — как она говорит. Ребята, конечно, этого не знали. Ну, а я подсказал им по-дружески: если, мол, хотите, смыться с уроков, делайте это законно, по всем правилам. Подсказал им, что, если сестра от нее хотя бы на расстоянии трех шагов, взять градусник и потихоньку настучивать температуру, она ничего не заметит. У нас, помню, целыми классами настучивали. Особенно перед контрольными. На школу, так сказать, обрушивалась эпидемия! А она ничего не замечала... И выписывала справки, освобождала от занятий. Смешно вспомнить! Заблуждения молодости... Я хотел на прощание сослужить тебе службу. Как говорится, услуга за услугу. К сожалению, ты не сможешь воспользоваться.

Он как-то торжественно и неторопливо согнул руку в локте,

рукав пиджака сморщился, полез вверх, и я увидел у него на руке красивые плоские часы.

— Отец подарил,— между прочим сообщил он. И сразу заторопился: — Мне пора! Скоро Нина Георгиевна вернется. Очень хочется ее увидеть, но разговор принесет ей только расстройство. Лучше потом напишу письмо.

Он вернулся к своему чемодану. Стал закрывать крышку, но она не захлопывалась до конца: то вылезал кончик рубашки, то высовывались трусы.

Тогда он сел на крышку и так, сидя на ней, закрыл чемодан на ключ. Но синие трусы все же продолжали торчать...

На прощание Шурик еще раз повернулся ко мне:

— Очень хорошо, что ты здесь оказался. Я потом напишу Нине Георгиевне. А ты скажи, что я очень переживал. Это правда. Я ведь люблю ее. И многим обязан... Но если нашлись родители? Я ведь не виноват.

8

«И этот ее покинул»,— мысленно сказал я себе, когда за Шуриком захлопнулась дверь.

Но он тут же вернулся. Я подумал, что он все-таки хочет ее дожидаться.

Шурик положил на стол два ключа и сказал:

— Передай ей, пожалуйста. Вот этот, английский, от парадной двери... Впрочем, она знает. Теперь мне не будет пути: вернулся.

«Пусть не будет...» — подумал я.

Боясь встретиться с ней по дороге, он удалился почти бегом, припадая на правую сторону: руку оттягивал чемодан. Он удирал...

Я смотрел на мальчишку в матроске с серебряным словом «Витязь». Я любил сравнивать старые фотографии с живыми людьми, которые были на них изображены и которых я знал повзрослевшими, постаревшими и совсем другими.

«Эх ты, витязь! Рыцарь! — думал я.— Исчезнуть... Так ей будет легче! И в детском доме было бы хорошо... У нас в стране сироты не погибают... Все правильно. Все абсолютно точно».

Я представлял себе, как много лет назад Нина Георгиевна купила ему этот нарядный матросский костюмчик, как долго причесывала его перед тем, как повести к фотографу: из-под

бескозырки продуманно выбивались светлые волнистые волосы. Но часы она ему купить не успела.

Шурик и мой отец были на стене почти рядом. Это было мне неприятно. «Они ведь такие разные,— говорил я себе.— И совсем по-разному ушли из этой комнаты, из этого дома». Я был в этом уверен, хотя не знал в подробностях, как ушел мой отец. Память, словно желая поспорить со мной, вновь и вновь злонамеренно возвращала меня к строчкам письма Нины Георгиевны, которые были мне непонятны: «А если не зайдешь, не обижусь. В конце концов, ты не обязан. И вправе просто не захотеть, как уже было однажды».

Стукнула парадная дверь. В коридоре раздались шаги — снова быстрые, неусталые: она спешила, она думала, что он ждет ее. Тем более, что, убегая, Шурик неплотно закрыл дверь и в коридор выбивалась полоска света.

Я схватил ключи, лежавшие на столе, и сунул в карман пальто. Я сделал это необдуманно и лишь потом понял зачем: эти оставленные на столе ключи говорили о чем-то окончательно-непоправимом.

Не веря своим близоруким глазам, Нина Георгиевна обошла комнату. И, даже не поздоровавшись со мною, спросила:

— Спрятался?... — Вполголоса, доверительно она сообщила мне: — Это привычка у него с детства. Закрылся в шкафу?

Она распахнула платяной шкаф. Должно быть, раньше вещи Шурика заполняли шкаф целиком: теперь он был почти совершенно пуст.

Нина Георгиевна присела на стул. Так мы сидели с ней друг против друга, в пальто, застегнутых на все пуговицы.

— Он был? — спросила она.

Я кивнул.

— А сейчас?

— Он ушел... Он сказал, что напишет письмо.

Она сгорбилась, пригнула голову. Мне показалось, что Шурик ударил ее тем самым отцовским стержнем, который был у него внутри.

Из-под шапки не было видно ее темной косы, и поэтому ничто не молодило ее лица: оно было бледным, измученным.

Чтоб успокоить ее, я сказал:

— Шурик будет писать вам... Вы будете с ним переписываться!

— Он должен был выбрать,— сказала она.— И выбрал мать и отца. Это нормально. Это можно понять.

И тут со мной произошло что-то странное. Я не мог усидеть на диване. Почему она всегда «может понять» тех, кто приносит ей горе? Почему считает «нормальным» все плохое и несправедливое, что случается с ней? Мне уже не хотелось больше успокаивать ее. И я не заговорил — я закричал:

— Ваш Шурик — предатель! Он предавал вас. Он использовал то, что знает о вас... Как предатель!

Теперь уже я ударил ее.

Она сняла очки, словно думала, что они обманывают ее, что это не я кричу на всю комнату. Я увидел ее глаза — прищуренные, близорукие, беззащитные. Но во мне не было жалости. Наоборот, мне хотелось взбудоражить ее, возмутить, сделать так, чтоб она закричала в один голос со мной. Хотя продолжал я уже не так громко, как начал. Но все-таки упрямо продолжал:

— Он рассказал своим друзьям, что вы плохо видите. И что вы добрая... Они обманывали вас. Настукивали температуру... Чтоб убегать с уроков. Это он подучил их! А вы им верили.

Она сгорбилась еще сильнее, еще ниже пригнула голову. И взглянула на меня исподлобья — очень странно, будто осуждая за то, что услышала. Осуждая не Шурика, нет, не Шурика, а меня.

Не поняв этого взгляда и испугавшись, я стал утешать ее:

— Это было давно. Когда Шурик был еще маленьким... Он просто не понимал. Был еще несознательным! А сейчас ему стыдно. Он сам сказал мне... Честное слово! Не верите?

Я защищал Шурика, хотя она его ни в чем не упрекала. Я как бы извинялся за то, что посмел обидеть его.

Она не слушала меня. Она разговаривала сама с собой:

— Это можно понять. Это нормально... Я ведь не детский врач, я невропатолог.

Стало быть, она осуждала не только меня, но и самую себя. Всех, кроме Шурика. Это было непостижимо. Она продолжала:

— Значит, я не имею права лечить детей. Я их люблю! Ну что ж, тем более не имею права... Они обманывали меня? Значит, не уважают.

— Что вы! Что вы?! — Я замахал руками. — Это взрослые, когда уважают, то не обманывают. А мы все равно обманываем. Не верите? Честное слово!

Она не слушала, а я настаивал на своем.

— Так бывает. Честное слово! Вот мы, например, очень уважаем учительницу литературы. Мы даже любим ее! Недавно

она спрашивает в начале урока: «Я вам задавала домашнее сочинение?» А мы все хором орем: «Не задавали!» Она говорит: «Склероз начинается: все позабыла». А у нее никакого склероза нет. Просто мы ей наврали. Вот видите: уважаем, а все равно наврали! С нами это часто бывает. Не верите? Честное слово!

Казалось, я тоже разговаривал сам с собой: слова мои до нее не доходили. Она продолжала размышлять:

— Он так поступил ради друзей. Это можно понять. А я?.. Не должна я работать в школе. Я люблю ребят, но, видно, не очень-то в них разбираюсь. И не очень умею лечить. Это главное. Сейчас, посреди учебного года, уйти нельзя. Но до лета надо будет обдумать... Это мне ясно.

Что было делать? Я не смел рассказывать ей об этих проклятых градусниках. Не смел!..

Она подошла к стене, сняла фотографию Шурика. И прижала ее к груди. И погладила рамку. После всего, что я ей рассказал...

9

Из моей жизни ушла беспечность. Я был уже не таким счастливым, как раньше. Потом, став взрослее, я понял, что беспечное счастье вообще выглядит жестоким и наглым, потому что еще далеко не все люди на свете счастливы. Мне казалось, что у меня изменилась походка, что я стал двигаться медленнее, словно отяжелел. На самом деле ходил я все так же быстро («летал», как говорила мама), — немного отяжелела моя голова: я стал чаще задумываться. И даже стал упрекать самого себя, чего прежде никогда со мной не случалось.

Целый вечер в тот день я мучился. «Зачем было рассказывать об этих несчастных градусниках? Думал, что она сразу возненавидит Шурика? Не мог вытерпеть этих ее «можно понять», «все нормально»? А если она бросит школу? Вполне на нее похоже!» Этого я не мог допустить! Казалось, отец, уйдя из того дома, доверил мне обязанность защищать Нину Георгиевну. Или, вернее сказать, переложил на меня эту обязанность. И я уже не мог от нее освободиться.

То и дело я мысленно сравнивал отца с Шуриком, чтобы убедиться, что между ними нет ничего общего. «Шурик предал ее! А отец вовсе не предавал, — объяснял я себе. — Мало ли людей расходится на белом свете? Разве все они виноваты?»

Так или иначе, но теперь, кроме меня, у Нины Георгиевны

никого не было. Да и меня у нее тоже не было, потому что мы с ней еще не стали друзьями.

Известно, что истина, даже старая, приходя к человеку впервые, кажется ему открытием. В тот день я окончательно убедился, что материнская любовь не слушает доводов и переубедить ее невозможно. Я и прежде не раз думал об этом. Давным-давно я вычитал где-то, что родители любят неудачных детей еще сильнее, чем удачных. Теперь я спросил об этом у бабушки.

— Ты можешь судить по себе,— сказала она.— Кто еще получает письма от родителей так часто, как ты?

Бабушка, как обычно, шутила. В том, что отец и мама любили меня, не было, конечно, ничего странного. Я был уверен, что это ни у кого не могло вызывать удивления...

А Нина Георгиевна? Когда я рассказал ей о Шурике, в ее глазах была неприязнь ко мне. Захочет ли она теперь меня видеть? Но все равно я не мог оставить ее одну...

«А что это значит: оставить одну? — раздумывал я.— Возле человека, попавшего в беду, могут находиться десятки людей, а он все-таки будет один, если эти люди не нужны ему, если он не считает их своими друзьями. Нужен ли я Нине Георгиевне? Если даже не нужен, я все равно не могу не прийти к ней сейчас. Но как это сделать? Если б мы были друзьями, все было бы очень просто: чтобы явиться к другу, не нужен повод — можно зайти, когда захочется, просто так, без всякого приглашения. А как я явлюсь к ней после того разговора?»

Мне нужен был повод. И я начал его искать.

Обычно я без труда находил выход из трудного положения.

— Это потому, что у тебя диктаторские замашки,— говорила бабушка.— Ты убежден, что цель оправдывает любые средства. А так всегда легче действовать: руки не связаны.

Я и правда мог притвориться, наврать, разыграть кого-нибудь, если это мне было нужно. Действовать так было в самом деле и проще и веселее. Впрочем, мои обманы и розыгрыши были не очень серьезны, как и цели, ради которых я их совершал.

Теперь, быть может впервые в жизни, я попал в сложную, необычную ситуацию, но мысль моя, не желая с этим считаться, устремилась в привычном для нее направлении.

Я должен был отыскать причину, которая бы позволила мне вновь подняться на второй этаж старого желтого домика. Одновременно мне хотелось доказать Нине Георгиевне, что она может работать в школе. Два этих замысла вполне можно было

объединить. Я обращаюсь к Нине Георгиевне за медицинской помощью! Пусть спасет какого-нибудь мальчишку от серьезного, очень опасного заболевания. «Хорошо бы, от смертельного!» — мечтал я. Но кого спасти? Какого мальчишку? «Лучше всего пусть спасет меня! — внезапно решил я. — Ну конечно: меня самого!»

Я быстро составил план действий. И ночью приступил к его выполнению. Да, именно ночью!

Мне очень хотелось спать, но я встал, разбудил бабушку и сказал:

— У меня жестокая бессонница...

— Пардон, какая?

— Ну, очень тяжелая... Наверное, это законы наследственности!

— Со сна не пойму: какие законы?

Тут я вспомнил, что бессонница была у отца там, в двухэтажном домике, но бабушка могла об этом не знать: в нашей квартире отец спал «богатырским сном». Я сказал:

— Может быть, дедушка или прадедушка этим страдали?

— Один из двух твоих дедушек был, помнится, моим мужем. Он спал превосходно. Другого дедушки я не знала, но если судить по отцу...

— Да... конечно... Он спит богатырским сном. Но я не сплю уже третью ночь.

— Не смыкаешь глаз?

— Смыкаю. Но ненадолго...

— Ну-с, все понятно. Только рано это у тебя началось.

— Я знаю... Обычно не спят старики?

— Осторожней насчет стариков! Я имею в виду другое: ты влюбился? Как же, припоминаю: на днях ты спрашивал что-то о первой любви.

— Чтобы я из-за этого?.. Никогда в жизни! Я чувствую, что немного болен... И хочу обратиться к врачу. Мне сказали, что есть один доктор. Кажется, женщина... Она лечит людей от бессонницы. Я схожу к ней.

— В последнее время ты вообще много ходишь, — сказала бабушка. — Я не стесняю твою свободу. Но свобода приносит людям прогресс, а тебе, кажется, одни только двойки.

— У меня нету двоек.

— Так будут, — пообещала бабушка.

— Из-за бессонницы я могу вообще остаться на второй год! А эта женщина замечательно лечит. У себя дома... И совершен-

но бесплатно! Ты только должна будешь написать ей письмо. Хотя несколько строк: «Благодарю за спасение внука!..» Или что-нибудь вроде этого. Ей будет очень приятно.

— Ты вовлекаешь меня в авантюру. Но я очень слаба...— сказала бабушка, вновь дряхлея у меня на глазах.— Я очень слаба и не в силах с тобой бороться. Можешь идти к врачу. К профессору! К гипнотизеру! Лечись! Выздоровливай!.. Только не мешай мне спать: я приняла две таблетки снотворного.

— Так, может быть, эта дурная наследственность от тебя?! — радостно воскликнул я.

— Пардон, ты мне надоел.

Бабушка, как всегда, готова была не мешать мне. И даже помочь. Но я еще долго вздыхал, ворочался, два раза вставал и громко пил воду, чтоб она все-таки слышала, как я страдаю.

На другой день после уроков я решил поехать к врачу. По дороге к автобусной остановке я репетировал свой предстоящий разговор с Ниной Георгиевной. Я всегда репетировал перед тем, как кого-нибудь разыграть. Мне нужно было заранее подготовить ответы на все возможные удивления, вопросы, недоумения.

Но на этот раз репетиция явно срывалась. Те фразы, которые обычно получались у меня такими круглыми, бойкими, нарочито уверенными, сейчас звучали неубедительно и даже нелепо. Я мысленно выступал и от имени своей собеседницы. Слова ее становились все резче, все злее... Она не была уже похожа на Нину Георгиевну. А разговор продолжался. Я слышал его как бы со стороны — и один из двух собеседников был мне неприятен: этим собеседником был я сам.

— Вы садитесь? — раздался сзади нервный, подталкивающий голос: подошла моя очередь садиться в автобус.

— Нет, я не еду... — ответил я.

И поплелся домой. Я был в растерянности. Не понимал: что же произошло? Почему я не смог выполнить свой план, который еще недавно казался мне таким удачным и остроумным?

И только сейчас, когда прошли годы, я понял: от меня уходило детство. Уходя, оно предлагало мне помощь, которой я уже не мог воспользоваться...

10

Обмануть Нину Георгиевну я не смог.

Но я должен был доказать, что действительно верю ей как врачу. И что она умеет лечить детей!..

«Должен любой ценой!» — сказал бы я раньше. Теперь любая цена не подходила: я был, как говорят, ограничен в средствах. Действовать в этих условиях было труднее.

Как достичь своей цели без розыгрыша и обмана? И вдруг я поразился самому себе: какой же я недогадливый идиот! Зачем было будить ночью бедную бабушку, если есть на свете Антон? Антон, которому в самом деле надо вылечиться от застенчивости, нерешительности и даже от заикания! А ведь Нина Георгиевна по профессии как раз невропатолог. Она спасет моего лучшего друга! И потом мы всем классом напишем ей благодарность! И она сразу поверит в свои силы... Тут все будет честно и благородно!

После уроков я попросил Антона остаться в классе.

— Будет серьезный разговор, — сказал я.

— Что-нибудь случилось? — участливо спросил мой друг.

— Еще не случилось. Но скоро случится! Я придумал, как помочь твоей матери.

— Маме?..

Я знал, что Антон будет отказываться от моего плана, и решил призвать на помощь его маму.

Антон сидел на нашей «аварийной» парте, а я — за учительским столиком. С этого места, решил я, мои фразы будут звучать убедительнее.

Антон волновался: корни его волос начали постепенно окрашиваться в розовый цвет. Я не стал мучить его и сразу приступил к делу:

— Есть одна женщина, которая будет лечить тебя. Прямо с завтрашнего дня. Она замечательный врач. Не-вро-па-то-лог! Понял? Это как раз то, что тебе надо. Ты станешь смелым и гордым! И будешь приносить матери одни только пятерки.

— Я должен подумать. Это очень серьезно.

— Нечего думать. Я больше не могу слышать, как ты заикаешься! Не могу видеть, как ты смущаешься у доски!

— Спасибо, Сережа... — отчаянно заикаясь от неожиданного предложения, сказал Антон. — Но у меня просто такой характер. Врачи этого не лечат...

— Ты разве не помнишь, что сказал наш зоолог?! — воскликнул я. — Он сказал однажды, что твоя застенчивость принимает болезненные формы. А раз болезненные, значит, можно лечить. И она вылечит! А мы потом всем нашим классом выразим ей благодарность. В письменном виде.

— Весь класс будет знать, что я лечусь?..

— Пожалуйста, если не хочешь, буду знать только я. И твоя мама... И мы вдвоем выразим благодарность. В письменном виде!

— Обязательно в письменном?

— Обязательно! Чтоб осталось на память.

— Прости, Сережа... Но если ее лекарства мне не помогут?

— Я прошу тебя вылечиться... Ты можешь для меня это сделать?

— Сережа... ты так этого хочешь? Ты так переживаешь за меня? Я не знал...

Мне было немного не по себе. Выходило, что я все же по очень искренен со своим лучшим другом. И, как всегда, когда я хитрил, фразы у меня получались бойкими, нарочито уверенными. Кажется, я вновь поступал не совсем «четко».

«Но ведь Антон действительно может выздороветь! — подбадривал я себя. — Значит, все честно и благородно! Важно только, чтобы Нина Георгиевна согласилась...»

— Я к вам по важному делу! — сказал я ей в дверях, словно извиняясь за свой приход.

На эту фразу она не обратила внимания: даже не поинтересовалась, по какому именно делу. А войдя в комнату, словно для того, чтобы отвлечь меня от моего дела, спросила:

— Ты прямо из школы?

— Я заходил домой.

— Но, может быть, хочешь обедать?

— Я пообедал... в кафе. — И зачем-то добавил: — Честное слово!

— В кафе? — удивилась она. — Ты что же, остался совсем один?

— Нет, с бабушкой.

— С маминой мамой?

Я кивнул... Ни до того, ни потом мы с ней ни разу не упоминали о маме. Словно это было запретной темой. Ни разу и никогда...

Помню, в тот миг мне неожиданно захотелось, чтобы и об отце мы с ней больше не разговаривали. Я решил напоследок выяснить то, что меня волновало: расшифровать те непонятные строчки в ее письме. И еще мне хотелось, быть может, немного оттянуть разговор о своем деле.

— Нина Георгиевна, — сказал я, — вы писали, что отец может не захотеть к вам прийти, «как это уже было однажды».

— Ты выучил письмо наизусть?

— Нет... я просто запомнил эти слова. Вы когда-нибудь раньше ему писали?

Она долго молчала, будто не решаясь ответить на мой вопрос. А потом стала вслух размышлять:

— Если Сергей пришел бы тогда? Может быть, с Шуриком все было бы иначе?.. Вряд ли, конечно. Но мне так казалось. Это было, когда Шурик учился в четвертом классе. Я помню тот день: двенадцатого февраля. Одноклассники устроили Шурику «темную». Я не стала допытываться за что. Ему было обидно. И он очень хотел отомстить! Мы ужинали вот за этим столом... Он выдал мне тайны своих приятелей. Смешные, конечно, тайны, мальчишечьи. Но он был уверен, что это «страшные тайны». И рассказывал о них шепотом. Оглядывался по сторонам... Он хотел, чтобы я донесла директору и его приятелей наказали. Я уже тогда работала в школе и дружила с директором. Сейчас его уже нет, он умер... Я отказалась, а Шурик кричал, требовал, разрыдался. Мне стало немного страшно... Я не смогла объяснить ему, не смогла убедить. И решила, что ему нужен сильный мужской разговор. Не с директором, не с учителем, а просто со старшим, но только с мужчиной. Я написала Сергею. Больше мне некому было писать. Я все ему объяснила. Но он не пришел... Думаю, он заботился обо мне: боялся, что я буду вновь, как он говорит, «растравлять» себя. Это можно понять.

Конечно, отец счел неразумным приходить в этот дом. А может быть, и нечестным перед мамой, передо мною.

А честен ли я перед нашей семьей, приходя сюда?.. Я не мог ответить на этот вопрос.

Я видел отца и Шурика — на стене, очень близко перед собой. Они были рядом. Может быть, и в отце сидит тот самый стержень, о котором рассказывал Шурик? Эти мысли были мне неприятны. Я быстро прогнал их.

И подумал совсем о другом, о приятном: рассказать тайну о близком человеке можно только другому близкому человеку или, по крайней мере, тому, кому доверяешь. Может быть, Нина Георгиевна стала мне доверять?..

— Ты только об этом хотел узнать? — спросила она. — Это и есть твое важное дело?

— Нет! Что вы! Что вы! — заторопился я. — Совсем другое... Мой школьный товарищ Антон нуждается в срочном лечении. Как раз у невропатолога! Он очень застенчивый, скромный такой... Заикается даже. И все время хватает тройки. Хотя все

знает! Знает, а у доски стоит и молчит. Представляете? Не может ответить! А мать его говорит, что утопится, если из него ничего не выйдет. Он очень хороший парень! Скромный такой... Если б вы могли его вылечить! Я об этом хотел сказать...

Рассказывая от Антоне, я вскочил со стула. Она тоже встала и подошла ко мне совсем близко. Но не для того, чтобы разглядеть меня пристально, как это делают близорукие люди. Мне казалось, она подошла так близко, чтобы я услышал ее, потому что она заговорила вдруг совсем тихо, почти шепотом:

— Чтобы уйти от человека... — Она кивнула не то на отца, не то на Шурика — на стене они были рядом. — Чтобы уйти от человека, надо иногда придумывать ложные причины. Потому что истинные бывают слишком жестоки. Но чтоб прийти, ничего не нужно придумывать. Надо просто прийти, и все...

— Что вы! Что вы! Антон действительно очень нервный. Я хочу, чтобы он вылечился. Не верите? Честное слово!

— Это само собой, — тихо сказала она. — Мы постараемся вылечить...

*

Прошло три с половиной года.

Ни разу не сказал я дома, что знаю ее. А она ни разу и не спросила, говорю ли я о ней и что говорю... Она не вошла в наш дом даже воспоминанием: я боялся что-то разрушить, боялся обидеть маму. Мама была счастлива, и я дорожил этим счастьем. Я готов был сам сделать все, что нужно было Нине Георгиевне. За отца, вместо отца...

По велению долга? Так было вначале, но не потом... «Веление» — яркое слово, гораздо красивей, чем «принуждение», но смысл их почти одинаков. Быть может, потребность стать чьим-то защитником, избавителем пришла ко мне первым зовом мужской взрослости. Нельзя забыть того первого человека, который стал нуждаться в тебе.

И вот недавно, месяцев шесть назад, мы переехали в другой город: поближе к объектам, которые проектировали отец и мама. Когда мы прощались с Ниной Георгиевной, я обещал, что каждый год летом буду к ней приезжать. Желая утешить человека, порой обещаешь ему то, что потом невозможно выполнить. Или почти невозможно... Уезжая, я не знал еще своего нового адреса, и мы договорились, что Нина Георгиевна будет писать на главный почтамт, до востребования.

А зимой отец сказал, что свои летние каникулы я проведу вместе с ним и с мамой: мы отправимся на юг, на Кавказ, к Черному морю.

— Это твое последнее лето,— сказал отец.— В будущем году ты должен поступить в институт. Надо набраться сил, закалить организм!

«Последнее лето» — эти слова стали повторяться у нас дома так часто, что мне начало казаться, будто до следующего лета я просто не доживу.

«Путешествуйте летом по рекам!» — долгие годы убеждала меня красавица, вырезанная из журнала. И отец говорил, что она совершенно права, что нет ничего разумнее отдыха на реке. Сейчас он уверял меня, что нет ничего полезнее горного воздуха, солнечных ванн и морских купаний.

— Мы полетим на самолете,— сказал отец.— Чтобы в свое последнее лето ты испытал все удовольствия.

Удовольствия я любил. К тому же я никогда не купался в море и не летал по воздуху. Последнее лето обещало быть очень счастливым, я ждал его с нетерпением.

Неделю назад отец купил три билета на самолет. А сегодня я получил письмо до востребования.

«Жду тебя. На все лето взяла отпуск. Не поехала со своими ребятами в пионерлагерь: жду тебя! Но если ты не приедешь, я не обижусь. У тебя могут быть другие дела и планы. Это можно понять».

«Поеду к ней в январе,— решил я.— Тоже будут каникулы...»

Я написал ей письмо. Я объяснил, что правильнее приехать именно в январе, потому что зимой я не смогу отдохнуть на море, а северный город, в котором я жил столько лет, зимой еще лучше, чем летом: можно кататься на лыжах. Я писал, что в пионерлагере она будет на воздухе и отдохнет, а в городе летом пыльно...

Я прочитал письмо — и не смог заклеить конверт. Это было чужое письмо, не мое: длинное, обстоятельное, без помарок.

Нет, я должен быть у нее в тот день, когда обещал, когда она ждет меня. Или вообще не приезжать никогда.

Я не могу стать ее третьей потерей... И сейчас еду сдавать свой билет.

Дома я сказал, что очень хочу повидать бабушку и Антона, которые остались там, в городе моего детства. Я и правда по ним соскучился. Но еду я к Нине Георгиевне. Я не буду давать

телеграмму: я приеду и открою двери ключами, которые до сих пор у меня. Теми самыми, которые бросил Шурик. Она об этом не знает. Пусть не одни только печальные сюрпризы являются в ее дом.

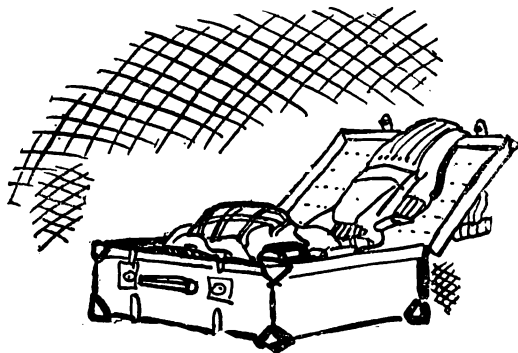
Мама не возражает: ей приятно, что я так стремлюсь к своей бабушке, к ее маме. Кажется, все опять выходит не очень «четко».

А с отцом я сегодня поссорился. Первый раз в жизни. Он сказал, что поездка моя неразумна, что бабушке и Антону надо просто послать письмо, что можно потом пригласить их в гости. Отец сказал, что я разрушаю планы семьи, что я вырос бескрылым, раз отказываюсь от гор, от высот, от полета...

И все-таки я еду сдавать билет на рейсовый самолет.

Отец привел слова, кажется вычитанные в книге: «Жизнь человека — это маршрут от станции Рождение до станции Смерть со многими остановками и событиями в дороге. Надо совершить этот маршрут, не сбиваясь с пути и не выходя из графика».

А я подумал о том, что ведь есть самолеты и поезда, которые совершают маршруты вне графика и вне расписания. Это самолеты и поезда особого назначения (как раз самые важные!): они помогают, они спасают... Я не сказал об этом отцу. Но я еду сдавать билет.





ОТЕЦ



ЕЛЕНА
СТАНИСЛАВОВНА
И НЕЛЯ



МАМА



Колькину маму никто по имени-отчеству не называл, все, даже ребята, называли ее просто Лёлей. «Вот придет наша Леля с работы, мы вам покажем!» — кричали они волейболистам соседнего двора, и Колька ходил гордый, будто это он сам умел гасить так, что все игроки по ту сторону сетки боязливо приседали на корточки; будто он сам умел принимать труднейшие мячи, а подавал так, что мяч стремительным черным ядром пролетал в нескольких миллиметрах над сеткой, чудом умудряясь не задеть ее.

Мама выбегала во двор в узких спортивных брюках и в тенниске. Болельщики встречали ее нетерпеливым гулом радости, но она прежде всего разыскивала Кольку и усаживала его в самый первый ряд зрителей — на садовую скамейку, на забор или прямо на траву...

И тут уж Колька сидел скромно, строго, не выражая своего торжества, а только изредка обменивался взглядами с мамой, которая, казалось, молча спрашивала его: «Ну как? Ты доволен мячом?» Или, наоборот, виновато подмигивала ему: «Прости... Сейчас постараюсь исправиться!» А когда команда выигрывала, мама непременно поднимала Кольку на руки и целовала, будто он был самым дорогим победным кубком, врученным ей раз и навсегда за все прошлые, настоящие и будущие победы.

Отец был намного старше мамы. Он не умел играть в волей-

бол, не умел бегать на лыжах и плавать диковинным стилем баттерфляй так хорошо, как умела мама. И мама почему-то не заставляла его учиться всему этому. Но зато она научила его тоже ходить в спортивной майке с распахнутым воротом, долго гулять перед сном и делать по утрам гимнастику (она вытаскивала в коридор сразу три коврика — для себя, для отца и совсем маленький для Кольки). А еще она научила отца судить волейбольные матчи, и когда отец со свистком во рту усаживался сбоку возле сетки, он тоже казался Кольке, а может быть, и всем остальным совсем молодым человеком. И его в те минуты тоже хотелось называть просто по имени... Хотя никто его так все же не называл.

Зато вслед за мамой все уважительно именовали его: «О справедливейший из справедливых!» И папин свисток был для спортсменов законом. Возвращаясь домой после волейбольного сражения или вечерней прогулки, отец очень часто говорил маме: «Мне снова легко дышится... Снова легко!» И это было очень важно для отца, потому что у него была бронхиальная астма.

Ну, а дома судьей была мама.

Она никогда не давала громкого свистка, никогда не напониала вслух о правилах жизни, но отец и Колька всегда весело и добровольно подчинялись ее решениям, потому что эти решения были справедливы.

У Кольки было любимое занятие: лечить больных, раненых или обмороженных птиц. Мама помогала ему в этом и называла птичьим доктором, а клетку, которую они вместе смастерили, — птичьей лечебницей.

Весной Колька всегда выпускал своих выздоровевших пациентов на волю... Птицы нетерпеливо вырывались из клетки, и Кольке от этого даже бывало немного не по себе. Но, может быть, им просто не терпелось поскорее показать ему, насколько окрепли их крылья, насколько готовы они к полету, и в том-то и была, быть может, их птичья благодарность.

Однажды летом отца стали душить частые и долгие приступы астмы.

— Я увезу тебя к самым лучшим врачам: к реке, к свежему воздуху... И они вылечат тебя! — сказала мама. — Мы заберемся в глушь и будем жить там как робинзоны!

Втроем они ехали на поезде, потом на грузовике, потом шли немножко пешком — и забрались туда, где воздух был сухим, а природа именно такой, какую долгие годы прописывали

отцу доктора, приговаривая: «Но все это, конечно, недостижимый идеал. Поэтому обратимся-ка лучше к таблеткам и каплям!»

Доктора, к сожалению, не были знакомы с мамой и не знали, что она умела делать «достижимым» все, что нужно было отцу и Кольке.

Дома по вечерам мамино возвращение с работы мигом преображало все: утолялся голод, комната становилась уютной и чистой...

И если мама задерживалась, Колька и отец чувствовали себя какими-то удивительно неустроенными, словно сидели на вокзале в ожидании поезда, который опаздывал и неизвестно когда должен был прийти.

То было дома, в городской квартире... А тут, на берегу реки, мама вдруг проявила такие способности, каких даже Колька с отцом от нее не ожидали.

Отец по утрам планировал предстоящий день отдыха, а мама смеялась: «Эх ты, мой проектировщик! Теоретик мой неисправимый!..» — и разжигала печку в домике лесника или даже костер прямо в лесу — варила суп, картошку, кипятила молоко.

И все это казалось Кольке самой вкусной едой на свете.

Отец загорел, посвежел, забыл про свои лекарства. «Теперь мы с вами три богатыря!» — говорила мама. А сама вдруг однажды вечером легла на бок, побледнела и, увидев испуганное Колькино лицо, заулыбалась как-то неестественно, через силу.

Колька внезапно почувствовал, что выражение «земля уходит из-под ног», которое он иногда слышал от взрослых, — это не выдумка, не фантазия, не преувеличение: ноги его подкашивались от волнения, и он не ощущал под собой твердого дощатого пола, на котором стоял еще минуту назад.

Пожилой лесник, отец и Колька на брезентовой плащпалатке несли маму в деревню, что была в пяти километрах: к домику лесника нельзя было подъехать даже на телеге. Мама все время держала Кольку за руку (не отца, не лесника, а только его, Колька навсегда запомнил это!). Она то и дело, быть может почти бессознательно, повторяла: «Ничего... Не волнуйтесь, пожалуйста. Не волнуйтесь...» Она, страдая, находила для них, трех мужчин, слова успокоения. И только изредка спрашивала: «Еще долго? Еще далеко?..» А они все трое молчали.

В лесу быстро темнело. Идти было трудно. И все то, что еще утром, еще днем казалось таким прекрасным, таким поэтически заманчивым — непроходимые заросли, глухое переплетение ветвей, — все это сейчас было враждебно и ненавистно Кольке. «Еще долго? Еще далеко?..» — спрашивала мама.

Из деревни они позвонили в райцентр, что был за двадцать пять километров, в больницу. «Скорая помощь» добиралась из райцентра целую вечность, хотя по часам выходило, что ехала она всего около часа.

Молодой человек в белом халате, очень строгий и неразговорчивый, даже не поздоровавшись, стал сразу осматривать маму.

А потом коротко сообщил: «Аппендицит». Садясь в белую машину с красными крестами, он произнес еще два слова: «Надо успеть».

Отец тоже сел в машину. И она умчалась. А Колька даже не догадался сказать, чтобы и его тоже взяли с собой, что он тоже хочет вместе с мамой...

Он стоял возле сельсовета рядом с пожилым лесником, неловко положившим ему на плечо тяжелую руку, и все время мысленно повторял последние мамины слова, тоже обращенные не к отцу, не к врачу в белом халате и не к пожилому леснику в резиновых сапогах, а только к нему, к Кольке, к нему одному на всем белом свете:

«Все будет хорошо. Мы еще побегаем с тобой по лесу! Аппендицит — это ерунда. От этого не умирают...»

Мама умерла.

Это было давно, в тот год, когда Колька еще только собирался на свой самый первый школьный урок. А теперь он уже был в шестом классе...

Прошли годы. Но и сейчас каждый день Колька вспоминал строгого молодого человека в белом халате и короткую фразу: «Надо успеть». Почему же они не успели?

Странная, непонятная людям привычка появилась у Кольки — почти у каждого нового знакомого он спрашивал: «У вас был аппендицит?» «Был, — отвечали некоторые. — Вырезали. Чепуховая операция!»

И вновь неотвязная, бесполезная мысль: «А если бы больница оказалась ближе? А если бы дорога в лесу была проходимее? Может, мама и сейчас была бы тут, рядом...»

И он слышал бы ее голос: «У меня нет никого роднее тебя... И не будет».

Колька стал мрачным и нелюдимым. То далекое лето, поначалу такое солнечное и беспечное, неотступно стояло перед его глазами и никак не хотело становиться воспоминанием...

Через три года после смерти мамы Колькин отец женился. В дом пришла Елена Станиславовна, работавшая с отцом в проектной конторе. Она пришла не одна, с нею вместе явилась и ее дочка Неля.

Неля была на год моложе Кольки, но в доме она сразу стала старше, как бы главнее, потому что училась в музыкальной школе.

В большой комнате на самом видном месте было установлено черное блестящее пианино, и оно сразу как бы заполнило собой всю квартиру...

Перед тем как переехать, Елена Станиславовна спросила у Кольки, не возражает ли он против этого. Колька не возражал... Потом она завела с Колькой беседу, которую назвала «очень важной для всей их дальнейшей совместной жизни». Елена Станиславовна сказала, что Колька со временем, конечно, должен будет называть ее мамой, Нелю — сестрой; Неля же, тоже со временем, должна будет называть Колькиного отца папой, а все четвером они непременно должны будут стать друзьями.

Все это Елена Станиславовна высказала так уверенно и гладко, будто читала по бумажке или заранее выучила текст беседы наизусть.

Она добавила также, что Колька и Неля должны быть во всем равны.

Неля не «со временем», а прямо-таки с первого дня стала говорить Колькиному отцу «папа», и он несколько дней вздрагивал от неожиданности, когда она его так называла. «Вот видишь,— сказала Елена Станиславовна Кольке.— Неля, хоть и моложе, но подала тебе пример».

А Колька не мог... Именно потому, что новая папина жена употребляла эти жесткие слова «должен», «должны», он никак не мог назвать ее «мамой», а дочку ее — «сестрой». Елена Станиславовна была, наверно, очень хорошей или, как говорил отец, «глубоко порядочной» женщиной, да и Неля ничего плохого Кольке пока не сделала, но друзьями они никак не становились, хоть это, по проекту Елены Станиславовны, обязательно «должно было быть».

Елена Станиславовна зорко следила за тем, чтобы Колька и Неля в одно и то же время утром вставали, а вечером ложились спать, поровну ели за завтраком, за обедом и за ужином (Кольке даже доставалось больше, потому что он, как подчеркивала Елена Станиславовна, «должен стать мужчиной»), но никакого равноправия все равно не получалось: Нелино пианино, ее призвание, ее музыкальное будущее не оставляли в доме даже крохотного местечка для Колькиных увлечений.

Например, для его птиц...

Кольке было обидно, что и отец стал сразу очень уважительно относиться к Нелиным занятиям.

И еще Колька с острой досадой сознавал, что сам он никогда не смог бы вот так часами сидеть на черном вертящемся стуле и упрямо добиваться своего.

Может быть, поэтому в доме от него как-то ничего особенного и не ждали, были вполне удовлетворены, когда он получал тройки, хотя от Нели строго требовали одних только пятерок.

С приходом Елены Станиславовны отцу как-то сразу стало точно столько лет, сколько было по паспорту, — сорок пять. Он уже не судил волейбольные матчи во дворе (Елена Станиславовна назвала это мальчишеством), не ходил в спортивных рубашках с распахнутым воротом и, хоть Елена Станиславовна чуть не каждую неделю водила его по врачам, чувствовал себя очень неважно.

«Ты забываешь о своей болезни!» — заботливо восклицала Елена Станиславовна.

А мама как раз старалась, чтобы отец о своей болезни никогда не вспоминал.

Кольке казалось, что новая жена отца бессознательно вытравляла все, что было связано с памятью о маме. Она делала это не нарочно, просто у нее был совсем другой характер. И другой характер стал у всего их дома.

Дом их был теперь аккуратным и подтянутым, словно застегнутым на все пуговицы, как строгий темно-синий жакет Елены Станиславовны.

Мамин портрет, которого Колька даже не видел раньше, Елена Станиславовна повесила на самом видном месте, над черным блестящим пианино, и, когда приходили гости, она громко всем сообщала: «Это первая жена моего супруга. Она была прекрасной женщиной. И нелепо погибла от аппендицита. Ее звали Еленой Сергеевной...» Колька вздрагивал, ему хотелось возра-

зять, сказать, что маму звали просто Лелей. Ему почему-то было неприятно, что полное мамино имя совпадало с именем Елены Станиславовны. Хотя, наверно, он был очень несправедлив.

...В тот памятный день, когда Колька вернулся из пионерского лагеря, в центре стола красовался пирог, купленный Еленой Станиславовной.

К этому дню Неля выучила новую музыкальную пьесу — бравурную и торжественную, подобную маршам, какими встречают победителей сражений. А Колька появился на пороге с облупившимся на солнце носом и со старым, тоже облупившимся чемоданчиком.

Неля кинулась к своему круглому вертящемуся стулу без спинки, откинула блестящую крышку пианино — и грянул марш. Но она не сумела доиграть до конца...

— Где моя Черная Спинка? — вскрикнул Колька, заглушая пианино.

Черной Спинкой он называл раненую чайку, которую нашел в конце прошлого лета на озере, возле лагеря, и всю зиму лечил.

— Она... была на кухне, — ответил отец и двинулся навстречу Кольке с распростертыми объятиями. — Здравствуй!.. Ну, здравствуй!

Колька увернулся от его рук, бросил свой чемоданчик на тахту и выскочил из комнаты. Все трое — отец, Елена Станиславовна и Неля, — переглянувшись, неуверенно двинулись за ним.

В кухне на окне стояла пустая клетка... Это была не обыкновенная клетка, какую можно купить в зоомагазине, она была самодельная, очень просторная, так что птица чувствовала себя в ней свободно и не должна была натекаться на деревянные перекладины. Эту клетку Колька построил очень давно с мамин помощью, и она бы, наверно, вполне подошла даже для ширококрылого горного орла, а не только для скромной чайки. Внутри клетки в горшочке с землей рос куст, чтобы птица, если бы она не была речной чайкой, могла присесть на него и вспомнить свой родной лес. Сейчас листики на кусте свернулись в сухие трубочки: их, видно, давно уже никто не поливал.

Дверца клетки, которую вполне можно было бы назвать дверью, была открыта.

В пустой банке из-под консервов валялось несколько желтых зерен...

— Вы давали ей рыбу? — тихо спросил Колька.

— Нет... у нас не было времени возиться с рыбой, — ответил отец. — А вот зерна...

Колька боялся задать главный вопрос, оттягивая его.

— А ногу вы ей перевязывали?

— Да... бинтом...

— Но ведь тут, на кухне, темно и жарко... и пахнет газом. Зачем же вы ее сюда?..

— Ты знаешь, Николай (отец в серьезные минуты всегда называл его так — Николаем), ты знаешь, что Неля нигде летом не отдыхала, что она занималась с утра до вечера, а птица кричала, хлопала крыльями, чем-то там шуршала. Ну, в общем, мешала ей...

— И что же, Черная Спинка, значит, тебе очень мешала? — все так же тихо, избегая еще главного вопроса, спросил Колька у Нели.

— Да, мешала! — звонко, дребезжащим от надвигавшегося плача голосом ответила девочка.

— Недаром тебя в школе зовут Писклей!

— Еще бы... Ведь я — твоя сестра!

— А ты мне не сестра... — выпалил Колька.

— Ты видишь, мама? Ты видишь?.. — Голос Нели становился все тоньше, будто внутри у нее нервно, все туже и туже натягивалась незримая глазу струна. И вот струна лопнула: разрывшись, девочка бросилась обратно в комнату.

До сих пор Елена Станиславовна молчала. В глубине души она считала, что должна была более чутко отнестись к Колькиной просьбе, внимательней последить за больной птицей. Она даже готова была вслух признать свою вину.

Но последняя Колькина фраза мигом изменила все ее намерения.

— Как ты можешь так, Коля? Неля видит в тебе своего брата, она так готовилась к твоему приезду... И эта Черная Спинка действительно мешала ей заниматься.

— Где же она сейчас? — тихо спросил Колька, не слыша ничего, кроме того, что касалось его любимой птицы.

Елена Станиславовна опустила голову.

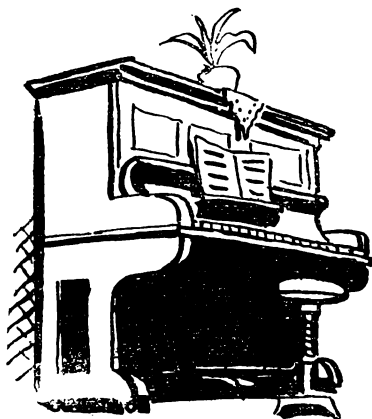
— Она сдохла, — набравшись мужества, ответил отец.

Колька качнулся...

Его поразило и то, что не стало любимой птицы, для которой он привез из лагеря целую банку мальков, и то, что отец сказал о ее смерти вот так прямо и грубо.

— Она умерла... а не сдохла. Умерла из-за вас! — крикнул Колька, сам еле сдерживая слезы. Он схватил свою огромную клетку и, неловко волоча ее впереди себя, спотыкаясь, побежал во двор...

— Ничего не понимаю, — медленно произнесла Елена Станиславовна. — Мы его так встретили... Неля марш приготовила. Подумаешь, птицы!..



ОСТРОВ ФУТБОЛЬНОГО
ПОЛЯ



ВЛАСОВ

МАЙКА

ПОРТРЕТ
БАБУШКИ

Я НИЧЕГО НЕ СКАЗАЛ...

(Из дневника мальчишки)

Сегодня в моей жизни произошло радостное событие: я получил двойку по физкультуре. Я очень не высоко прыгнул в высоту, не длинно прыгнул в длину и перепутал все гимнастические упражнения.

Сначала ничего радостного в этом не было. Учитель по физкультуре напомнил мне о том, что наша школа на первом месте в районе по спортивной работе, и сказал, что мне шесть лет назад лучше было бы поступить в другую школу, которая не на таком почетном месте в районе, как наша. На перемене классная руководительница предупредила меня, чтоб я не думал, что физкультура — это второстепенный предмет. И сказала, что вообще стоит только начать: сегодня двойка по физкультуре, а завтра — по литературе или даже по математике (наша классная руководительница — математичка). А староста класса Князев просто сказал, что я хлюпик.

Но зато на следующей перемене ко мне подошел наш десятиклассник Власов, который никогда бы не подошел ко мне, если бы не эта двойка. Вообще-то фамилия его не Власов. «Власов» — это его прозвище, потому что он самый сильный у нас в школе. На одном спортивном вечере старшеклассники делали пирамиду, а Власов был как бы ее основанием: на нем стояло и висело человек пять или шесть (сейчас уж точно не помню), а он преспокойно, растопыбив ноги, всех на себе держал!

И вот этот-то самый Власов, который может удержат на себе столько людей сразу, подошел ко мне и сказал:

— Нам с тобой, я так думаю, поговорить нужно бы, Кеша. Пойдем куда-нибудь. А то тут, я смотрю, глазают со всех сторон.

Власов, конечно, своим ростом очень выделялся на нашем этаже, среди шестиклассников. Но никто бы все равно глазеть на него не стал, если бы он не был самым сильным во всей школе. А тут все, конечно, глазели.

Я хоть и растерялся, но сразу сообразил, что никуда уходить нам не нужно: пусть все видят, что ради меня сверху спустился сам Власов и запросто прогуливается со мной по коридору!

И мы стали прогуливаться...

— Ты, я так слышал, двойку схватил? — сказал Власов.

Ах, вот в чем дело! Власов ходил вразвалочку. И говорил тоже вразвалочку, негромко и неторопливо, переминаясь со слова на слово. В общем, ребята не слышали, о чем он меня спрашивал. А я, чтобы сбить всех с толку, отвечал ему во весь голос и с веселой такой улыбкой на лице:

— Верно! Правильно! Было такое дело!

— Ты, я так думаю, слышал, что наша школа на первом месте в районе по спортивной работе?

— Слышал! А как же!.. — радостно ответил я.

— Это хорошо, разумеется, что ты не падаешь духом. Но двойку твою исправлять надо. Чтобы вся школа не сползала из-за тебя вниз по спортивным показателям.

— Еще бы! Можете на меня положиться!

— Нет, сам ты не сумеешь... А выходить надо, друг, из этого постыдного положения. Мне вот и поручено помочь тебе.

— Ха-ха-ха! Это замечательно! — воскликнул я, будто мы говорили о каких-нибудь очень приятных вещах.

— Где же мы будем с тобой заниматься? — продолжал Власов, немного озадаченный моим смехом.

— В спортивном зале! Или внизу, во дворе...

— Это, я думаю, не подойдет. Серьезной работы там не получится: мешать будут.

«И в самом деле, — подумал я, — если мы будем заниматься в спортивном зале или во дворе, все сразу поймут, что Власов приходил ко мне из-за двойки!»

А ребята между тем даже бегать по коридору перестали, тыкали в нас пальцами со всех сторон и сообщали один дру-
гому:

— Смотри! Смотри — Власов нашего Кешку обнимает!

Вообще-то он меня не обнимал, а просто положил руку мне на плечо: наверно, жалел меня, сочувствовал мне как двоечнику. Не понимал, что я в этот момент — самый счастливый человек на всем нашем этаже! Ну, а со стороны казалось, что он меня обнимает...

— Я так думаю, удобней всего будет дома, — сказал Власов.

— У тебя?.. То есть у вас? — спросил я.

— Называй меня на «ты». Неважно, что я в десятом классе. Все, как говорится, там будете!

— Значит, у тебя дома?

— Лучше, я так думаю, у тебя. В привычной обстановке ты быстрее добьешься успеха.

Власов придет ко мне домой! Этого даже во сне не могло присниться!.. Сам Власов!

И хоть дом мой совсем близко от школы (всего пять минут бега), я очень долго объяснял Власову, как до него добраться.

Так я растянул наш разговор на всю перемену. Это произвело на ребят очень большое впечатление.

— Кеша, а Кеша... О чем он с тобой разговаривал? — спросил староста Князев, тот самый, который еще час назад назвал меня хлюпиком.

— Да есть у нас с ним одно дело, — ответил я.

— У тебя с Власовым?!

— Да. С ним.

— А о чем он тебя спросил? Ты еще ответил: «Можете на меня положиться!»

— Не могу сказать: это, знаешь, неудобно... Есть у него ко мне одна просьба...

— К тебе?!

— Что ж тут такого? Он еще сегодня часа в три ко мне домой зайдет... Ну, а у тебя, Князев, что нового?

*

Ровно в три часа я вышел к подъезду встречать Власова. Просто не усидел дома.

И вдруг я почувствовал, что за мной следят. Бывает так, что чувствуешь чужой взгляд на расстоянии... Даже спиной чувствуешь или затылком. А тут наблюдали прямо из подворотни дома, который стоял напротив, через дорогу.

Это были ребята из нашего класса во главе со старостой Князевым.

Все ясно: явились проверять, придет ли ко мне Власов.

Я, конечно, сделал вид, что никого из них не заметил.

А минут через пять или десять появился Власов. Он шел не торопясь, высокий и красивый такой... Я прямо залюбовался. Мысленно залюбовался, потому что из подворотни за мной наблюдали ребята.

— Зачем же это ты на улицу вышел? — удивился Власов. — Я так полагаю, нашел бы твою квартиру сам.

— Ничего, ничего, не смущайся! — громко, чтобы меня услышали в подворотне, сказал я. И, приподнявшись на цыпочки, похлопал Власова по плечу.

Но когда Власов поднялся к нам на третий этаж, он и в самом деле как-то засмутился. Вместо того чтобы сразу приступить к занятиям по физкультуре, стал для чего-то разглядывать фотографии двух моих дедушек и одной бабушки, которые висели на стене.

— А бабушка у тебя была, надо так думать, красавица... — задумчиво сказал он.

— Почему «была»? Она и сейчас еще жива...

— Нет, я в смысле ее внешности... Очень красивая! Вот здесь, значит, вы и живете? В этих двух комнатах?

— Да. А там, в других двух комнатах, есть соседи, — стал объяснять я, словно был каким-нибудь экскурсоводом по нашей квартире. — И ванная комната еще есть. И кухня...

— Хорошо, — сказал Власов. — Очень у вас хорошо.

Он каким-то странным и даже, как мне показалось, мечтательным взглядом обвел стены, и шкаф, и буфет, и стол, и стулья, и все вообще, что есть у нас в комнате. А потом вдруг спросил меня:

— Ты, Кеша, физик или лирик?

Физику мы еще только начали проходить, а литературу я давно люблю и поэтому ответил:

— Все-таки, наверно, я лирик...

— Ну, а где мы с тобой будем прыгать через веревку?

— Лучше всего в коридоре, — сказал я. — Он длинный.

Веревку Власов принес с собой. Мы зацепили один ее конец за ручку нашей двери, другой конец держал Власов. Но тут раздался голос соседки:

— Что такое случилось? Перегородили коридор! Нельзя пройти в кухню!

— Простите, пожалуйста,— сказал Власов.— Мы этого не учили. Сейчас мы это исправим.

Увидев Власова, соседка вдруг заулыбалась, зачем-то погляделась в зеркало, которое висит у нас в коридоре, рядом с вешалкой, и сказала:

— Ничего, ничего... Я могу легко, как мышка, прошмыгнуть под веревкой. Это даже оригинально.

Ага, испугалась! Но откуда она узнала, что он самый сильный во всей нашей школе?!

— А может, пойдем к нам во двор? — предложил я.

— Нет, во двор не пойдем,— сказал Власов.— Лучше попробуем в комнате.

«Не хочет срамить меня перед ребятами! — решил я.— Напрасно, конечно, волнуется: у нас во дворе ведь про двойку никто не знает! Сказал бы, что готовлюсь к соревнованиям,— и все. Но уж раз он такой заботливый...»

Мы повесили веревку в комнате. Я прыгнул два раза в высоту, один раз в длину... И тут пришел сосед с нижнего этажа:

— Что, вы решили пробить у нас потолок?

Сосед, видно, не узнал во Власове нашего школьного чемпиона. И прыжки пришлось прекратить.

— Тогда займемся гимнастикой,— сказал Власов.

Но потом вдруг снова стал разглядывать портрет моей бабушки. И сказал:

— Давай немножко поговорим...

Наверно, ему не хотелось сразу приступить к гимнастическим упражнениям. А может быть, он действительно хочет подружиться со мной... Что из того, что он в десятом классе, а я только в шестом! Это ничего не значит. Ведь дружит же мой папа с одним инженером, который старше его на целых пятнадцать лет!

Но тут, как назло, пришла моя сестра Майка. Она младше Власова на целый класс. Но он ведет себя очень просто и скромно, а Майка невозможно задается. Потому что все считают ее красивой.

Эта Майкина красота мне просто житья не дает. Почти никто из взрослых не называет меня по имени, а все говорят: «Это брат той самой красивой девушки из девятого класса!» «Это брат той самой красотки из тридцать третьей квартиры!...»

Как только Власов увидел Майку, он сразу передумал со

мной разговаривать (какие могут быть при ней серьезные разговоры!). Он сбросил куртку и остался в спортивной рубашке без рукавов. Тут только я увидел вблизи, какие у Власова потрясающие мускулы и загорелые руки! На нем были синие спортивные брюки с резинками внизу, поэтому ног я не видел, но и они, наверно, тоже красивые и загорелые.

— Сегодня ты будешь только смотреть и запоминать!

И он стал выделять такие гимнастические номера, запоминать которые мне было совершенно бесполезно, потому что я все равно никогда в жизни ничего подобного не смогу сделать.

Власов ходил на руках по нашей комнате, чуть не задевая ногами за абажур висячей лампы. Потом поднимал стул одной рукой за одну ножку и долго держал его в воздухе. Потом сделал «мостик» и там, на полу, соединил свои загорелые руки со своими ногами...

Но Майка на все это даже смотреть не стала. Она вышла в другую комнату и захлопнула за собой дверь.

Я немного погодя тоже забежал туда и говорю:

— Что это ты даже не поздоровалась?

— Нашли где физкультурой заниматься! — сказала она.

— Ты что, с ума, что ли, сошла? Не узнаёшь его?

— Прекрасно узнаю.

— Это же Власов! Сам Власов!

— Подумаешь!..

— Он пришел, чтобы немного потренировать меня. По-нимаешь?

— Вот и тренировались бы в спортивном зале. Смешно! В комнате ходить на руках!..

— Можно подумать, что не он сильнее всех в школе, а ты! Власов первый и, может быть, даже последний раз в жизни пришел к нам в дом! Все нам завидуют! А ты уходишь в другую комнату! Посмотри, какие у него мускулы... У тебя есть такие мускулы?

— Еще чего не хватало!

— А ты вообще когда-нибудь видела такие мускулы?

— Подумаешь! — ответила Майка.

Это ее самые любимые слова: «Смешно!» и «Подумаешь!». Я понял, что спорить с ней бесполезно.

Через три дня я уже вполне мог бы исправить свою двойку. Но я исправлять ее не хотел. Все эти три дня Власов приходил к нам, и мои приятели просто погибали от зависти. Я прекрасно понимал, что, если двойка исправится вдруг хотя бы на тройку, я уже никогда больше не увижу Власова у себя дома и никто больше мне не будет завидовать.

Власов тоже считал, что спешить не следует:

— Надо, я так полагаю, исправить твою отметку основательно: раз и навсегда! Поэтому никакой такой торопливости, я уверен, быть не должно.

Но староста Князев, наоборот, очень торопился. Он пригрозил написать в стенгазету о том, что я тяну назад всю нашу школу.

Как я мог один тянуть куда-то целую школу, мне было совершенно непонятно.

Но двойку все же пришлось исправить.

— Наконец-то! Поздравляем! — говорили ребята.

— Спасибо, — печально отвечал я.

— Что это ты такой грустный? — удивлялись мои приятели.

— Устал. Перетренировался...

Но на самом деле я просто мысленно навсегда прощался с Власовым. И это было так грустно, что даже хотелось плакать.

Сегодня в тот час, когда ко мне, бывало, приходил Власов, в прихожей раздался звонок. Теперь уж это не мог быть он, я знал... И подумал, что долго, наверно, звонок в дверь в этот час будет напоминать мне о Власове. Но делать нечего, пошел открывать...

Передо мной стоял Власов! И странно: он тоже смотрел на меня с удивлением, будто не ожидал увидеть.

— Ты, значит, здесь?.. — спросил он, что-то соображая.

— Ну да... Поскольку уроки уже кончились, — отвечал я так, словно нужно было объяснять, почему я нахожусь у себя дома.

— И ты один? — продолжал он тем же странным, мне казалось, тоном.

Я кивнул.

— Думаешь сейчас, я уверен: зачем Власов пришел? Так, да?

«Наверно, хочет поздравить меня с исправлением двойки!» — подумал я.

— А пришел я вот зачем... — сказал он. И помедлил немножко, как будто вспоминал, зачем же именно. — Я, понимаешь, задумал отправиться в дальнее путешествие... Не в одиночку, конечно... Одному — куда же?

«Неужели?!» — мелькнуло у меня в голове. И я затаил дыхание.

— Нужен мне спутник, — продолжал Власов медленно, еще медленнее, чем всегда. — И... я так думаю, ты вполне подойдешь.

Я молчал. Я от восторга потерял голос. И вообще боялся сказать что-нибудь не то, чтобы Власов не разочаровался во мне и не передумал. Но все-таки спросил:

— А куда мы?..

— Вот верно: куда?.. — подхватил Власов, как будто это и для него было не совсем ясно. Он наморщил лоб. А потом вдруг заговорил быстро, так, точно боялся остановиться: — Есть на нашей реке островок. Небольшой такой, но зато совершенно необитаемый! Корабли обходят его стороной. И на лодках туда не заплывают: далеко все же! А мы с тобой поплывем. Проведем там денек, ночь переспим. И... ну да, обязательно зароем бутылку в песок с таким сообщением: «Здесь впервые провели целый день и проспали целую ночь...» И поставим свои имена и фамилии, как полагается. Вот.

— А зачем? — спросил я. И сразу испугался, что вопрос получился глупый.

Но, видно, Власову он таким не показался.

— Зачем... — повторил он, как будто ему это на миг стало не очень понятно. — Да. Зачем?.. А затем! — прямо-таки закричал он вдруг. — Водрузим вымпел! Закрепим весь этот остров за нашей школой. И назовем его так: остров Футбольного Поля.

— Футбольного Поля? — переспросил я.

— Ну да. У нас ведь, ты знаешь, двора никакого при школе нет. В футбол погонять абсолютно нигде. А мы туда, как говорится, проложим маршрут. И будут по нему потом наши футбольные команды на матчи ездить. Простор там!

— Еще бы! — восхитился я. — Полная необитаемость!..

— Только Майе ничего не говори, — предупредил меня Вла-

сов.— Насмехаться начнет: «Подумаешь, робинзоны!..» И еще что-нибудь такое придумает. И, я так полагаю, обязательно расскажет твоим родителям, а они...

— Я ей ни за что, ни под какой пыткой не расскажу!

— А сам начинай понемногу готовиться к путешествию. Успех, как ты понимаешь, во многом зависит от подготовки. Пораскинь со своей стороны мозгами... Поплывем мы, я так думаю, в первый день летних каникул. Ну, до этого мы еще не раз увидимся. Да...

Он помедлил, рассеянно так окинул взглядом стены и неожиданно сказал то, чего я от него в тот момент никак уж не ожидал услышать:

— Бабушка у тебя, несомненно, тоже красавица!

Эту фразу я от него, правда, уже слышал, только без «тоже».

«Что значит — тоже? — не понял я.— А кто еще? Я, что ли, красавица?!»

Я размышлял об этом и после, когда Власов уже ушел. И еще я думал о том, как это странно, что где-то на белом свете уцелели необитаемые острова... Я в них уже давно не верил. Я думал, что они существуют только в книжках. Но Власов нашел такой остров! Нашел! А Майка еще смеет говорить о нем: «Подумаешь!»

*

Сегодня мы начали готовиться к путешествию. Власов принес карту всей нашей области и показал, куда именно мы поплывем и где примерно находится остров Футбоного Поля. По карте выходило, что мы проплывем какие-нибудь полсантиметра, но я-то знал, что плыть нам придется больше пяти часов!

— Мы спустимся вниз, к острову, на байдарке,— сказал Власов.— Грести будем по очереди.

Я сознался, что никогда на байдарках не плавал и грести одним веслом не умею.

— Я так думаю, что тебе нетрудно будет научиться,— успокоил меня Власов.

Он положил стул на пол. Сам тоже сел на пол, прямо между ножками стула. Оперся спиной на обратную сторону сиденья, а руки положил на ножки, словно на борта нашей будущей байдарки. В руки вместо весла взял половую щетку и стал учить меня грести и управлять лодкой.

Потом я раз пять садился на пол, и он тоже еще раз пять усаживался между ножками...

А потом неожиданно появилась Майка — она всегда появляется неожиданно и тогда, когда ей бы лучше не приходиться! В этот момент на полу как раз сидел Власов. Он почему-то очень смутился, покраснел... Стал очень как-то поспешно подниматься, задел за ножку стула, споткнулся и чуть не упал. Майка бестактно расхохоталась.

— Глупо! — сказал я ей. — Над кем смеешься?!

И чтобы сбить сестру с толку, стал объяснять, что продолжаю свои тренировки по физкультуре, а Власов мне помогает.

— Надо совсем запутать следы, — тихо сказал я Власову. — Чтобы она ни о чем не догадалась!

Тогда он, усевшись за стол, стал рассказывать мне всякие истории. Но громко, чтобы и Майка тоже слышала...

Власов стал рассказывать про хитрого фараона Хирена. Этот фараон построил для себя целых две пирамиды: одну — настоящую, а другую — фальшивую, чтобы обмануть грабителей, которые обворовывали фараоновы гробницы. И внутри пирамид он понаделал разных ловушек: встанешь на каменную плиту, а она вдруг проваливается — и кубарем летишь в колодез.

— Жалко, что этот твой Хирен умер, — насмешливо сказала Майка.

— Почему? — удивился Власов.

— Очень бы он в угрозыске пригодился.

— Но пирамиды-то все равно ограбили, — сообщил Власов. — И настоящую и фальшивую...

— Откуда ты знаешь? — задала Майка очередной свой глупый вопрос.

— В книжке прочел, разумеется.

— Ах, в книжке! — разочарованно воскликнула Майка. Будто Власов мог сам лазить по фараоновым гробницам. И все-таки присела к столу...

Власов стал рассказывать о разных необычайных вещах. О китах, которые, кончая жизнь самоубийством, выбрасываются на берег Тихого океана. О каком-то человеке, который не спит вот уже двадцать лет!

Майка больше не задавала своих дурацких вопросов. А мне было жалко несчастных китов, которые кончали жизнь самоубийством. Я очень завидовал человеку, который умудрился столько лет подряд не ложиться спать! И я очень злился на Майку, которая мешала нам готовиться к путешествию...

Вот уже пятый день я ем только те продукты, которые быстро портятся. А те, которые не портятся, складываю в ящик письменного стола, где лежат мои учебники и тетради. Я складываю туда сыр, колбасу, печенье, конфеты... Я решил, что все это мы захватим с собой в путешествие.

Но готовиться к своему походу мы уже пятый день не можем: Майка перестала уходить из дому. Явится после школы и сидит в комнате, будто ее приковали. Она делает это нарочно, из вредности, чтобы помешать нам.

И Власову приходится сидеть рядом с ней за столом и рассказывать разные истории, вместо того чтобы учить меня управлять байдаркой. Власов, конечно, в душе возненавидел Майку, но не показывает виду. Потому что он спортсмен и умеет владеть собой. А Майка слушает и никуда не уходит...

Наверно, придется перенести наши тренировки в другое место. Завтра скажу Власову...

А сегодня вечером я убедился, что колбаса все же портится довольно быстро.

Неприятный запах заставил маму принюхаться. Она пошла по этому запаху, как по следу, и обнаружила в моем ящике склад продуктов.

— Зачем это, Кеша?! — воскликнула мама.

— Просто так... чтоб не тревожить тебя по ночам, — ответил я.

— По ночам?! — изумилась мама.

— Ну да... Иногда ночью у меня вдруг разгорается аппетит. Это бывает довольно часто. Что тогда делать? И вот я, чтобы никого не будить...

— Ночью есть очень вредно, — сказала мама, — это доказано медициной.

И она ликвидировала все мои запасы.

Но, ложась спать, я заметил на стуле, возле своей кровати, бутерброд с сыром и яблоко.

— Это прекрасно, — громко сказал я. — Проснусь среди ночи, поем немного и снова усну.

И я в самом деле проснулся... Взял все, что лежало на стуле, и спрятал в более надежное место: в книжный шкаф, за тяжелые тома энциклопедии, к которым у нас никто никогда не прикасался.

Никто, кроме меня... А я теперь по вечерам стал изучать

энциклопедию. Ведь если мы с Власовым будем на острове вдвоем, он же не сможет все время, не закрывая рта, рассказывать разные интересные истории. Он устанет, и вообще ему будет со мной скучно... Я тоже должен буду рассказать ему что-нибудь особенное!

И вот я стал читать энциклопедию и даже кое-что выписывать из нее в тетрадку.

Я узнал, например, что киты, которые иногда кончают жизнь самоубийством, делятся на два семейства: на гладких китов и на полосатиков. Мне очень понравилось это слово: полосатики! И еще я узнал, что знаменитый китовый ус расположен совсем не там, где растут усы у людей, то есть не под носом, а во рту! В энциклопедии так прямо и написано:

«Киты имеют вместо зубов систему из двухсот — четырехсот роговидных пластин, называемых китовым усом, свешивающихся с поперечных валиков нёба...»

Эти строки я выписал в тетрадку.

А вдруг, на мое счастье, Власов всего этого не знает? И тогда я ему расскажу!

*

Сегодня я немного задержался в классе. Князев устроил собрание на тему: «Спорт — лицо нашей школы!»

Я взял и рассказал о том, что скоро отправлюсь с Власовым в одно дальнее путешествие. Ведь мне не было запрещено говорить об этом ребятам.

Я только Майке не имею права говорить, потому что от нее об этом сразу узнает мама. А если мама узнает, то ужасно перепугается и никуда меня не пустит.

Ребята мне очень завидовали. Князев даже сказал, что таким образом укрепляется связь разных поколений. Я, значит, по его мнению, одно поколение, а Власов — другое! Одним словом, домой я вернулся в прекрасном настроении.

Прихожу, а Власов уже у нас. Зашел пораньше: хотел, наверно, застать меня одного. А застал вместо меня Майку: она всех своих подруг позабыла и после уроков летит, как ракета, прямо домой.

Мне кажется, она хочет, чтобы и Власов тоже краснел и потел в ее присутствии, как другие мальчишки. А добилась совсем другого: вывела Власова из себя! Даже он — лучший спортсмен во всей нашей школе! — не выдержал: когда я вошел в комна-

ту, он не сидел за столом, как обычно, а ходил по комнате, весь красный и взволнованный. Ну, точно такой, каким он был тогда, когда поднялся с пола и зацепился за стул. Или даже еще взволнованнее!

Наверно, он как следует отчитал Майку, потому что она ему что-то отвечала тоже очень взволнованно. Но когда я вошел, сразу замолчала, смутилась и села на диван. Наша Майка смутилась! Этого еще никогда не бывало! Дошло, вероятно, до ее сознания, что она нам мешает в важнейшем деле. В таком деле, которого даже понять не может, потому что никогда еще на необитаемых островах не была. И тем более не почевала!

Власов сразу подошел ко мне и тихо, шепотом, говорит:

— Кеша, сбегай, пожалуйста, срочно ко мне домой. Там у меня на столе, рядом с чернильным прибором, компас лежит. Он, я так думаю, нам с тобой сегодня весьма пригодится. Только сейчас же беги. Не задерживайся!

«Ага,— думаю,— значит, Майку уговорил! Не будет она нам больше мешать! Мы путь сегодня наметим. Я научусь управлять байдаркой, компасом пользоваться... Это нам все в пути пригодится!»

Власов хотел мне свой адрес на бумажке написать. Но я остановил его:

— Скажи так, на словах: я повторю и запомню!

«Пусть,— думаю,— знает, что у меня память хорошая! Что я могу с любым донесением в разведку пойти: все сразу запомню и точно все передам!»

Власов жил не так уж далеко. Но я все равно побежал проходными дворами, чтобы путь сократить. Ворота в одном месте были закрыты, а я через них перелез. И опять побежал. И не заметил даже, что у Власова в доме лифт есть. Только потом заметил, когда уж вниз спускался. А вверх, на шестой этаж, я мигом взлетел!

Позвонил три раза, как Власов просил, но никто мне дверь не открыл. Тогда я один раз позвонил, потом позвонил два раза: может, думаю, из соседей кто-нибудь дома? Никто все равно не открыл. Я ухом к замку прильнул, но никаких шагов не услышал. Только вода из крана на кухне капала... Это было слышно.

Но путешественник должен быть настойчивым и упорным! Все, что ему нужно, он должен найти, разыскать и достать! Хоть под землей, хоть под водой!

И я твердо решил: без компаса домой не возвращаться! На улице я очень хитро и находчиво поговорил с дворничихой. И она мне уже буквально через минуту сообщила, что мать Власова работает тут же рядом — в домоуправлении.

Я спустился в подполудвал и сразу узнал мать Власова, хоть никогда раньше ее не видел. Сам Власов был высоким, широкоплечим, красивым, а мать его была худенькой, низенькой, совсем незаметной, но все равно была очень похожа на своего сына.

Я объяснил ей, в чем дело. Но она смотрела на меня как-то подозрительно, с недоверием. Тогда я назвал номер нашей школы, имя и отчество классной руководительницы Власова, имена и фамилии некоторых его одноклассников и даже упомянул, что наша школа на первом месте в районе по спортивной работе. Власов будет очень доволен, когда узнает, что я и тут, как настоящий следопыт, проявил находчивость. Завоевал доверие его матери!

Она убедилась наконец, что я — это я, что пришел я от самого Власова, с его личным заданием.

Мы сели в лифт и поехали на шестой этаж. А через несколько минут компас уже был у меня в руках: кругленький, отполированный такой... Я на обратном пути все время его поглаживал.

Снова я прошмыгнул проходными дворами, перелез через ворота. И, запыхавшись, примчался домой. Но там никого не было...

Я не поверил своим глазам. Заглянул под стол, за буфет, за книжный шкаф. Никого не было...

Как же так?

Наверно, Майка сказала Власову что-то такое, чего он не мог стерпеть и ушел. Нельзя было оставлять их вдвоем! Нельзя!

Куда же бежать? Где искать Власова?

Я решил все-таки ждать дома: может быть, он вернется?

А чтобы время шло побыстрее, я сел и написал в своем дневнике обо всем, что сегодня случилось.

*

Ждал я долго.

Я успел описать в дневнике все, что случилось со мной утром днем. Потом я написал на отдельном листке сообщение о том,

что мы с Власовым первыми среди всех людей на земле провели целый день и целую ночь на острове Футбольного Поля.

Я записнул эту бумажку в пустую бутылку из-под «Ессен-туков», которые мой папа пьет перед обедом. А Власов все еще не возвращался...

Наконец раздался звонок. Я бросился открывать дверь. Это была Майка.

Но я сперва даже с трудом узнал ее: Майка была какая-то странная. Сказала мне спасибо за то, что я открыл ей дверь.

Раньше она никогда ни за что меня не благодарила.

— Ты один, Кешенька? — спросила она.

Я чуть не упал... Всегда я был просто Кешкой, иногда даже Иннокешкой, потому что полное мое имя — Иннокентий. «Наверно, замаливает свои грехи! — решил я. — Выгнала Власова, а теперь опомнилась и подлизывается. Ничего у нее не выйдет!..»

— Ты сказала Власову что-нибудь такое, что он из-за тебя ушел, да? Сознайся!

— Из-за меня ушел? — с глупой какой-то улыбочкой переспросила Майка. — Скажи лучше, что он из-за меня пришел!

— Куда?

— Сюда, к нам.

— Когда?

— Ну, примерно дней десять назад... Точно уж я не помню.

— Ха-ха-ха! Ты с ума сошла, что ли? Он сначала пришел помогать мне! По физкультуре... Говори: куда он ушел отсюда?

— Туда же, куда и я.

— Куда и ты?

— Ну конечно. Мы оба пошли в кино.

— В кино?! Но ведь он же послал меня за компасом!

— Это потому, что, когда ты вернулся из школы, он еще не успел уговорить меня. Я сперва отказывалась идти...

— И он тебя уговаривал?!

— Ты не сердись, пожалуйста. Ты еще этого не понимаешь.

— Ты врешь! Ты все врешь! — крикнул я.

И почему-то со злостью посмотрел на портрет своей бабушки, с которой, как говорили, в нашей семье пошли красавицы по женской линии.

Я схватил со стола компас...

А через несколько минут я уже летел теми же самыми проходными дворами, что и днем. И перелезал через те же самые ворота.

Дверь мне открыл Власов.

— Ты был с ней в кино? Это правда? — прямо с порога спросил я его.

— погоди... Я сейчас тебе все объясню.

— Ты из-за нее пришел к нам, да? Никто тебе заниматься со мной не поручал? Говори: не поручал?

— погоди, Кеша... Ты же мужчина. Ты должен понять...

— А в путешествии мы пойдем? Говори: пойдем? Или никого такого острова вообще нет?

— Остров есть. Есть такой остров... Я сам его видел. Только там, понимаешь, городской пляж устраивают. Лежаки всякие понавозили, ларьков понастроили... Так что опоздали мы с тобой... Но ты, я так думаю, будешь на этом пляже загорать. Приплывешь туда на речном трамвае... Это гораздо быстрее, чем на лодке! И удобней!

— «Удобней»! Я всем ребятам уже рассказал... Я готовился. Я так ждал...

Больше я ничего не стал говорить. Просто не мог...

Я слетел с шестого этажа вниз за какую-нибудь секунду. Он не мог угнаться за мной.

— Прости, Кеша. Ты же мужчина. Ты же должен меня понять. Я просто не знал, что ты так расстроишься, я не думал. Я не ожидал...

Он уже говорил не вразвалочку, переминаясь со слова на слово, а сбивчиво, торопливо, и слова у него наскакивали одно на другое:

— А если хочешь, мы с тобой поплывем туда, на остров. Пока еще там никто не загорает... Поплывем! Самыми первыми! Хочешь? Возьмем байдарку и поплывем. Хочешь, а?

— Я никуда не поплыву с тобой, Кубарьков. Никуда! Потому что ты лгун и обманщик!..

Кубарьков — это была его настоящая фамилия.

— Хочешь, поплывем?.. А хочешь, пойдем за грибами? Или рыбу удить. А если хочешь, возьми себе этот компас. Навсегда... Он тебе пригодится. Если хочешь...

— Без него найду дорогу!

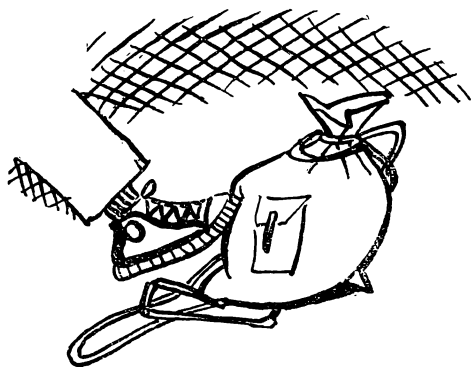
Я обернулся и сунул компас ему в руку.

И тут заметил, что у него дрожат губы... Я даже приостановился.

— Ты только Майе не говори... Не говори, что я так пошутил. Что я сочинил все это про необитаемый остров... Не говори ей. Очень прошу тебя. Не говори...

И я ничего не сказал Майе. Ни одного слова.

Но в путешествие я с ним не пошел. И никогда не пойду. Никогда!..





БЕЛОКУРАЯ
ЖЕНЩИНА

ОТЕЦ

МАМА

ОТЕЦ

Генка очень любил смотреть фильмы, на которые дети до шестнадцати лет не допускались. Он любил читать книги, на которых не было обозначено, для какого они возраста: значит, для взрослых! И когда однажды по радио объявили лекцию для родителей, Генка решил, что эту лекцию ему непременно надо послушать.

Зазвучал скучный голос, к которому диктор прикрепил важное звание — «доктор педагогических наук». Генка всегда старался представить себе людей, голоса которых он слышал по радио. Сейчас ему почему-то представилась сухопарая женщина в пенсне и белом халате. Слово «доктор» очень подходило к ней, потому что каждая ее фраза звучала как рецепт.

Первый рецепт был такой: «Чем больше ребенок читает, тем лучше он учится!» Генка даже испугался: он рос явно не по правилам. Если он изредка и получал двойки, так, пожалуй, только из-за книг. До недавнего времени Генка читал и за обедом и за ужином, используя в качестве подставки пузатую сахарницу, которая сперва важно подбоченивалась двумя тонкими ручками, потом — одной ручкой и, наконец, при Генкиной помощи стала вовсе безрукой.

Не подходил и другой рецепт: «Ребенок должен уважать родителей, но не бояться их!..» А вот Генка своего отца одновременно и уважал и побаивался.

Это отец первый объявил войну Генкиному «книгоглотательству». Он повел наступление по всем правилам военной науки. Сперва произвел разведку: побеседовал с сыном о книгах. И тут оказалось, что даже названия и фамилии авторов безнадежно перемешались в Генкиной голове. Он путал Купера с Куприным, а Станюковича с Григоровичем. Затем отец начал решительную атаку: он стал беспощадно высмеивать сына, и даже в присутствии товарищей. Генка растерялся... И тогда в образовавшийся «прорыв» отец устремил главные силы. Он тяжело опустил на стол свою руку, такую огромную, что вилки и ложки казались в ней игрушечными:

— Теперь мы будем читать вместе!

— Как вместе? — удивился Генка. — Вслух, что ли?

— Нет, не вслух. Но и не слишком про себя. Брать книги ты будешь по моему совету, а потом будем устраивать дискуссии...

На первом этаже была детская библиотека. Библиотекарша, добрая полная женщина, по прозвищу «Смотри не разорви», доставала Генке те книги, которые советовал ему прочитать отец. А за ужином начинался экзамен.

— Ты опять пропускаешь описания природы? — спрашивал отец.

— Я ничего не пропускаю, — оправдывался Генка.

— Не лги! Хуже всего, когда ты говоришь неправду. Ну с чем, например, здесь сравнивается запах первого снега?

Генка ёрзал на стуле. Ему хотелось сбежать на улицу и понюхать снег: может, он угадает, о каком именно сравнении спрашивал его отец.

— Писатель сравнивает запах первого снега с запахом арбуза! Это очень образно и очень точно. А ты это место пропустил!

Иногда в спор вмешивалась мама. Отец тут же соглашался с ней. А мама почему-то начинала сердиться:

— Женщине только в трамвае положено уступать место. А в спорах эта вежливость ни к чему!

Мама была машинисткой. Работу она брала на дом. Ей казалось, что отлучись она из квартиры на день, и случится что-то ужасное, произойдет какой-нибудь катастрофа. По утрам маме некуда было спешить, но вставала она раньше всех. Готовила завтрак отцу и Генке. Проняясь с мамой, отец целовал ее в голову и говорил каждый раз одни и те же слова:

— До свидания, малыш мой родной!

А мама вдруг менялась в лице, краснела. И Генке начинало казаться, что она вставала так рано только для того, чтобы услышать эти слова.

Слово «малыш» совсем не подходило к маме: она вовсе не была маленькой. Может быть, она казалась такой с высоты ста восьмидесяти сантиметров могучего отцовского роста? (Эти сантиметры были предметом особой Генкиной гордости.) Но ведь сына, мальчишку, отец именова! строго и просто — Ген-надем...

Отец и сын вместе выходили на улицу, вместе шли до угла. Это было очень приятно — идти рядом с отцом: мама осталась дома, а они, мужчины, деловые люди, спешат, торопятся.

Генка знал, что все товарищи со двора завистливо глядят на него, потому что все уважают его отца. Ведь это он научил ребят строить ледяные крепости, это он заставил-таки управдо-ма залить во дворе каток, и это он рассказывал ребятам о новых машинах, которые сам конструировал!

На углу они прощались — коротко, по-мужски.

— Ну, иди, — говорил отец.

А вечером Генка с нетерпением ждал возвращения отца. Он сразу узнавал его шаги. Отец поднимался так не спеша, словно, сделав шаг, раздумывал, идти ли ему дальше или, может быть, вернуться вниз. Один неторопливый звонок... Генке очень хотелось открыть отцу дверь. Но он чувствовал, что еще больше этого хочет мама. И он уступал ей дорогу. Отец вновь целовал мать в голову и говорил почти те же самые слова, что и утром: «Здравствуй, малыш мой родной!» Но звучали эти слова еще ласковее, потому что отец, видно, успевал сильно соскучиться за день.

Генка терпеть не мог нежностей, но от слов, которые отец говорил маме, ему становилось радостно и как-то спокойно-спокойно на душе.

На миг отец заглядывал маме в лицо.

— Какие у тебя глаза воспаленные! И зачем нам нужна эта трещотка? (Так он называл пишущую машинку.)

— Это не она — это все враги мои виноваты, — полусмущливо оправдывалась мать. Своими врагами она называла неразборчивые почерки. Мама говорила, что даже по ночам ей снятся разные нечеткие буквы и особенно часто буква «т», которая гонит-ся за ней по пятам на трех тонких ножках.

У Генки отец будто мимоходом спрашивал:

— Ну, как дела с науками?

Он никогда не заглядывал в дневник, чтобы проверить, правду ли говорит сын. И, может быть, именно поэтому Генка никогда не мог солгать. Если он приносил домой посредственную отметку, то так прямо и говорил. Отец не поднимал шума. Генка не слышал от него упреков, но зато не слышал он в такие вечера и увлекательных рассказов о спорте, о работе инженеров, которых отец, как и всех других людей, делил на «толковых» и «нетолковых».

Мама поступала совсем иначе. Она раскрывала дневник и глядела на злосчастную отметку так, словно читала трагическое известие. Потом она шла к соседке, у которой дочь тоже училась в шестом классе.

Начинался разговор, в котором имена Генки и соседкиной дочери ни разу не назывались: о нем говорили «наш», о ней — «моя».

— Наш-то сегодня опять троечку принес. А отец говорит, что это хуже двойки: ни богу свечка, ни черту кочерга, — жаловалась мать. Она любила повторять слова отца: они казались ей самыми верными и убедительными.

— Ну, уж не будьте слишком строги: ваш-то зато сколько книг проглотил! А мою не усадишь за книжку.

— Нет, нет, вы нашего не защищайте! Он мог бы прекрасно учиться: у него ведь такие способности!

— Так ведь и моя тоже способная!

«И почему это все родители воображают, что их дети такие способные?» — недоумевал Генка. Мама потом еще долго вздыхала... Но молчание отца было для Генки куда страшнее причин таний мамы. И он в тот же вечер сел за учебники.

И только с одной Генкиной слабостью отец никак не мог справиться. Этой слабостью была его неистребимая страсть к кино. Кажется, если бы существовали кинокартины, на которые почему-либо не допускались люди моложе шестидесяти лет, Генка бы и на них попадал. Сидеть дальше второго ряда он считал непрослительной роскошью. Таким образом, на шестьдесят копеек Генка умудрялся сходить в кино три раза!.. Немного денег ему давала мама, а остальные он добывал в результате строжайшего режима экономии: в школе завтракал через день, в метро и троллейбусе ездил без билетов.

Когда Генка приходил домой взволнованный и раскрасневшийся, отец пристально смотрел на сына, и взгляд его говорил: «Не вздумай что-нибудь сочинять, я прекрасно вижу, что ты был в кино».

А за ужином отец, как будто ни к кому определенно не обращаясь, задумчиво произносил:

— Сегодня вышла новая картина. Интересно, о чем она?

И Генке волей-неволей приходилось рассказывать содержание.

Иногда мама говорила отцу:

— Может, вечером сами сходим в кино? А Генка достал бы нам билеты: он ведь специалист по этой части...

Отец смущенно разводил руками:

— Да я бы с удовольствием, ты же знаешь. Но как раз сегодня вечером у меня неотложные дела... (Отец называл фамилию одного из «толковых» инженеров, с которым ему необходимо было срочно посоветоваться.)

А Генка сердито смотрел на маму: неужели она не понимает, как сильно занят отец?!

Однажды Генка узнал, что за три квартала от их дома идет какой-то старый фильм, о котором приятели отзывались коротко, но выразительно: «Мировой!»

Картину эту Генка раньше посмотреть не успел по той простой причине, что в дни ее первого выхода на экран он еще не родился.

Вообще Генка не решился бы пойти на вечерний сеанс. Но он знал, что отец должен вернуться поздно: у него важный и торжественный день — испытание новой машины. Отец говорил, что еще возможны всякие неожиданности, что кое-кто из «нетолковых» инженеров может выступить против и что он поэтому очень волнуется. Отец волновался...

А как же тогда волновалась мама, ожидая его возвращения! Она места себе не находила: то садилась за машинку, то шла беседовать с соседкой, то при каждом звуке шагов выбегала на лестницу...

Генке особенно хотелось пойти в кино еще и для того, чтобы скорей пролетели часы ожидания. Чтобы вернуться домой, сразу увидеть отца и по лицу мамы (именно мамы!) понять, что все хорошо, все очень хорошо...

Генка захватил с собой долговязого семиклассника Жору, которому беспрепятственно продавали билеты на любой сеанс. Жора доставал билеты всем мальчишкам во дворе, за что собирал с них немалый «оброк»: редкие марки и редкие книги.

Ребята помчались по вечерним улицам, толкая прохожих и шепча себе под нос торопливые извинения, которые слышали

только они сами. Когда добрались до кинотеатра, оказалось, что уже поздно: билеты проданы. Кончился предыдущий сеанс, из кинозала выходили люди, щурясь от света, на ходу натягивая пальто и шапки и так же на ходу обмениваясь впечатлениями. Генка глядел на них с завистью.

И вдруг он услышал такой знакомый голос:

— Тебе не холодно, малыш?

Генка повернул голову и увидел отца. Отец, пригнувшись, помогая какой-то незнакомой белокурой женщине закутаться в пестрый платок.

Генка хотел шмыгнуть в сторону: ему ведь было строго запрещено ходить на вечерние сеансы. Но его глаза сами собой, помимо воли, поднялись, встретились с глазами отца — и Генка изумленно отступил на шаг: он вдруг увидел, что отец сам его испугался. Да-да, отец испугался! Он, всегда такой сдержанный, неторопливый в движениях, вдруг засуетился, стал неловко вытаскивать свою руку из-под руки белокурой женщины и даже, как показалось Генке, хотел спрятаться за колонну, которая никак не могла скрыть его, потому что она была тонкая и узкая, а отец — огромный и широкоплечий.

И Генка помог отцу: он выскочил на улицу и побежал так быстро, что даже долговязый и длинноногий Жора не поспевал за ним.

Но где-то на перекрестке Генка на миг остановился — в его ушах зазвучали слова: «Тебе не холодно, малыш?» Белокурая женщина, которую отец закутывал в пестрый платок, была в самом деле невысока, но Генке казалось диким, что и к ней тоже могут относиться слова, которые всегда принадлежали маме, одной только маме...

А как же испытание машины? Значит, это неправда? А может, никакой машины вовсе и нет? Отец сказал неправду?.. Генка не мог понять этого, это не уместилось в его сознании. Тогда, может быть, все неправда: и разговоры о книгах, и советы отца, и споры за ужином? Все, все неправда?!

Библиотекарша, по прозвищу «Смотри не разорви», крикнула:

— Зайди, Гена! Я достала книгу, которую ты просил.

Но Генка только махнул рукой: он не хотел брать книгу, которую советовал ему прочитать отец. Он почему-то не верил этой книге.

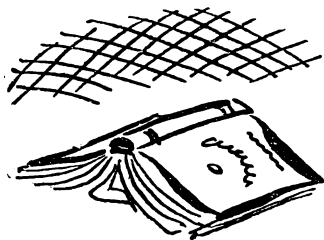
Вернувшись домой, Генка сразу же лег в постель.

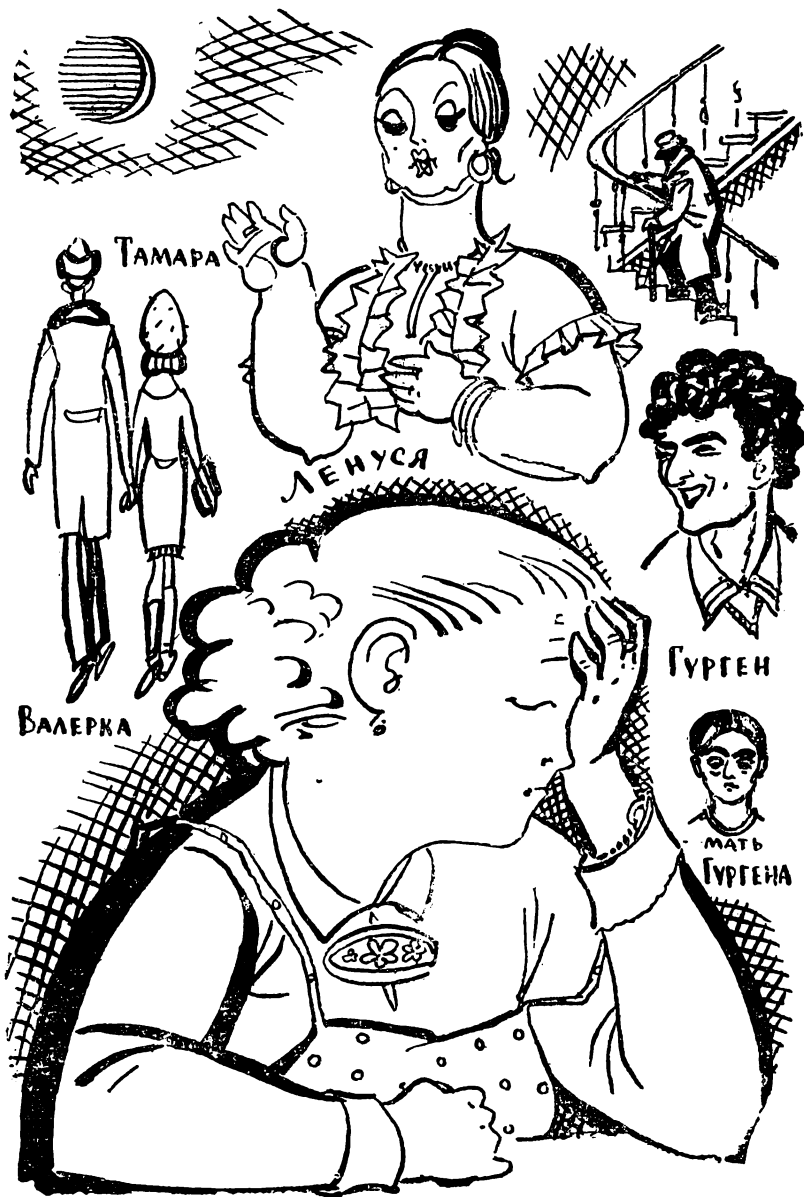
— Что с тобой? Ты такой горячий... Нет ли у тебя темпера-

туры? — тревожно спросила мама. (Больше всего она волновалась, когда отцу или Генке нездоровилось: всякая, даже самая пустяковая болезнь казалась ей тогда неизлечимой.)

— Не волнуйся, мамочка... я очень устал, и все! — как никогда ласково, ответил Генка.

А на самом деле он просто не хотел, он не мог слышать, что сегодня скажет отец, когда мама откроет ему дверь.





НОЧЬ ПЕРЕД СВАДЬБОЙ

Почему их так долго нет? Спектакль, наверно, уже кончился. Почему же их нет? Опять шаги за стеной, на парадной лестнице... Нет, не они. Тамариных шагов я еще не знаю, но Валеркины... Я привыкла ждать эти шаги. С каждым годом ждать приходилось всё дольше: сын вырослел. Сперва он взлетал на наш третий этаж, потом взбегал, а теперь просто поднимается, пока еще не отдыхая на площадках между этажами: с годами мы все замедляем шаги.

Наша длинная старая комната с высоченным потолком разделена на две половины. Ожидая его, я всегда думаю: хорошо бы заснуть, а проснуться — и почувствовать, что он рядом, за фанерной перегородкой. Но ни разу я не уснула, не дождавшись его...

Ожидая, я обязательно представляю себе разные ужасы. Но ведь с Валериком никогда ничего не случилось. Почему же всегда я жду чего-то плохого? Вот и сейчас... Может быть, решили после театра побродить по городу: ведь только сегодня днем расписались. Расписались... Странное слово. Но так говорят!

Кажется, к завтрашнему вечеру все готово. Хорошо, что взяла отпуск на три дня. А то бы ничего не успела. Но дело, конечно, не в отпуске: ничего бы я не сделала без Ленуси.

Лена, Ленуся... Мой добрый гений! И не только мой. Еще в школе мы всем классом списывали у нее трудные задачки.

А если возникал конфликт с учительницей или происходило какое-нибудь недоразумение, она умела восстановить справедливость, и объяснялась, и хлопотала... За меня, за всех наших друзей. Сперва она помогала устраивать наши свадьбы, а теперь свадьбы наших детей. Но сама так и не вышла замуж. У нее не хватило времени: она устраивала счастье своих друзей. И столько дала она нам бескорыстных и мудрых советов, что, может быть, ни одного не оставила для себя.

Гостей будет много. На день рождения можно кого-то позвать, а кого-то нет: не все же помнят, когда ты родился. Приходят самые близкие, которые помнят... Но свадьбу не скроешь ни от кого. Я не хочу, чтобы хоть один приятель Валерика на него обиделся. Я люблю этих приятелей за то, что они любят его. Всю жизнь я любила тех, кто хорошо к нему относился. Если какая-нибудь соседка говорила, что он красив или просто хороший мальчик, она начинала казаться мне самой симпатичной и милой во всем нашем доме. А учительница, которая на родительском собрании хоть мимоходом отмечала, что у Валерика есть способности, становилась для меня самой умной и справедливой. И Тамару я тоже люблю за то, что она любит Валерика. Нет, не только за это. Она добрая, справедливая... Но главное то, что она любит моего сына. Это самое главное.

Я не представляла себе, как все рассядутся в нашей комнате, разделенной на две половины. Где взять столько стульев, столько посуды?

— Так всегда бывает. Я это предвидела, — сказала Ленуся. — Мобилизуем общественность.

Она прошла по квартирам и договорилась с соседями: они дадут нам сервизы, столы и стулья. Я живу в этом доме сорок три года, но не решилась бы ходить по квартирам. А Ленуся решилась. Ради меня. И никто ей не смог отказать. Ей отказать невозможно.

Друзья Валерика любят поесть. Они не требуют деликатесов: от недавних студенческих лет осталась эта непритязательность. Но давай им побольше! А завтра они все же деликатесов отведают. Я тут совсем ни при чем: над кастрюлями колдовала Ленуся. Она все умеет. И не требует помощи... А лишь время от времени спрашивает: «Попробуй, не надо ли перцу? Попробуй: кажется, пересолила?»

Да, у меня все готово. Вернее, у нас с Ленусей. Вот только подарок не успела купить. Но ничего: завтра Ленуся поможет. Она ведь точно знает, что лучше всего дарить к именинам, что

к свадьбе, а что к годовщине свадьбы. Может быть, стыдно так много перекладывать на ее плечи, на ее мудрый житейский опыт? Но иначе я не могу. Мне кажется, она мысленно пережила все ситуации и конфликты, какие только возможны, пережила, чтобы понять и иметь верный совет на все случаи жизни. Для меня и моих подруг. Лена, Ленуся! Наш добрый гений...

Почему же они не идут? Так поздно... Вот поднимается сосед с четвертого этажа, отдыхает на каждой ступеньке: у него был инфаркт. Сейчас он гулял перед сном. Возвращается к ночным «Последним известиям». Значит, двенадцати еще нет. За долгие годы, ожидая Валерика, я изучила походку всех наших соседей. И даже их привычки...

Я вижу Колин портрет. Темно, но я его вижу. Там, на столе... Валеряк не помнит отца: он ушел на войну, когда сыну было два года. Он погиб и потому навсегда остался моим мужем. Для Валерика он герой. Только герой, как Чапаев или Котовский...

Валерик не помнит отца отцом. А я помню мужа, который бы, наверно, ушел от меня, если бы не война... Как это произошло? С чего началось?

Я помню те первые Колины фразы, которые насторожили меня. Знакома меня со своими приятелями, он сказал: «Она финансовый работник», а в другой раз: «Она работает в области экономики». А я, как и сейчас, была просто бухгалтером. Даже не старшим и не главным...

С детства я привыкла советоваться с Ленусей. Помню, она сказала:

— Не огорчайся. Мы с тобой, а это самое главное: друзья надежнее жен и мужей. А вообще я это предвидела. Так ведь всегда бывает при подобном соотношении сил... Нет, дело не в званиях: не в том, что он кандидат наук, а ты бухгалтер. Есть мужья, у которых звания повыше, чем у него, а жены всего-навсего домашние хозяйки. И ничего ужасного не происходит, потому что дома эти мужья просто мужья. А ученые — особый народ! Многие из них и дома тоже живут только своей профессией. Понимаешь, живут! А ты — в ином мире. Вы, я думаю, не сможете понять друг друга, как люди, разговаривающие на разных языках.

— Но ведь чужой язык можно выучить, — тихо сказала я.

А сама подумала: «Нет, я выучить не смогу. У меня на руках Валерик...»

Может быть, Коля сказал, что я тружусь «в области экономики» так, без какой-нибудь задней мысли? Но я после разговора с Ленусей стала приглядываться, следить за его отношением ко мне — я искала подтверждений ее словам и, конечно, их находила.

Мне казалось, Коля напряженно прислушивается, когда я разговариваю с его друзьями: боится, что скажу что-нибудь не то. Я стала избегать его знакомых. Он спрашивал, пойду ли я с ним в гости, а я отвечала, что как раз в этот вечер мне нужно остаться дома. И он привык всюду бывать без меня. Может быть, я сама его к этому приучила?

Я помнила слова Ленуси, что так бывает всегда «при подобном соотношении сил». Я верила этим словам. Они меня утешали: значит, иначе и быть не может. И бороться бессмысленно, и ничего не надо предпринимать, раз так бывает всегда.

С войны Коля писал нежные письма. Но я понимала, что он писал их не мне, а родному дому, который издали, когда тяжело и плохо, всегда кажется желанным и дорогим.

А они все не идут... Вот семенит по лестнице старичок из соседней квартиры. Он работает в ресторане официантом и приходит самым последним. Скромный, тихий такой старичок: всегда всем уступает дорогу, даже мальчишкам. Как-то не представляю его в костюме официанта, среди танцующих пар, среди джазовой музыки, под светом роскошных люстр... А не купить ли им люстру в подарок? В их половине, за фанерной перегородкой, есть только настольная лампа. Надо посоветоваться с Ленусей. Люстра как раз подойдет! Но почему же их нет? Если пришел старичок из ресторана, значит, уже за полночь. Может, куда-нибудь позвонить?.. Немного еще подожду.

Я не жалею, что больше не вышла замуж. Я думаю, Валерик не принял бы в наш дом никого чужого. Хотя одного человека он бы, пожалуй, принял.

Однажды к нам в управление приехал из Армении инженер, автор проекта. Звали его Гургеном. Шумный, веселый... И наивный такой: всему удивлялся. Все принимал, как неожиданность и как радость: «У вас свое машбюро? Можно работу перепечатать? Это прекрасно!.. У вас есть своя столовая? Можно поужинать? Это здорово!.. У вас рядом троллейбусная остановка? Прямо напротив? Это замечательно!..» Слова он выговаривал как-то так, что приятно было его слушать, даже если он не произносил ничего особенного, и хотелось, подражая ему, тоже говорить с легким восточным акцентом. Все мы вдруг стали необычайно

ценить свое учреждение, у которого было, оказывается, столько разных достоинств!

В те дни в нашем городе происходили какие-то конференции и симпозиумы, и получить номер в гостинице было невозможно. А директор наш знал, что у меня длинная комната, разделенная на две половины (он учился когда-то с Колей и бывал у нас). Он знал, что живем мы вдвоем с Валеркой, и попросил приютить Гургена хотя бы дней на пять.

Я согласилась.

Войдя в нашу комнату, он сказал: «Такие высокие потолки? Здесь можно летать! Это прекрасно!» Подошел к окну и воскликнул: «Какой превосходный вид! Прямо на улицу...» Мы с Валериком переглянулись: нам стало казаться, что мы обладатели бесценных сокровищ. И даже то, что комната окнами выходила на улицу, откуда всегда доносился шум трамваев, троллейбусов, автомобилей, даже это стало казаться нам очень приятным.

Когда приезжали родственники из других городов, мы с Валериком сами ощущали себя как бы гостями, словно были в чужом доме: нарушался строй нашей жизни. Гурген ничего не нарушил. Он лишь добавил то, чего нашему дому всегда не хватало: у нас стало праздничнее.

Ленуся настороженно относилась к шуткам Гургена, к его восторженным восклицаниям.

— Восточное красноречие! — как-то сказала она. — Так бывает всегда: мы поддаемся этому застольному обаянию. Верим их громким словам, а потом они забывают, как нас зовут.

Однажды Гурген развесил по стенам ватманские листы и стал рассказывать нам с Валериком о своем проекте. Мы, почему-то совсем не робея, делали разные предложения. Он записывал их в тетрадку, потом сказал:

— Строгие консультанты утопили меня в поправках. И вы беспощадны. Но это прекрасно: зато месяцев через шесть снова приеду в Москву! На окончательное утверждение.

Валерик вдруг улыбнулся, и я почувствовала: он рад, что Гурген снова приедет. Я тоже обрадовалась. И испугалась того, что обрадовалась.

В тот вечер он сделал мне предложение. Я ничего не могла ответить: мне нужно было посоветоваться с Ленусей.

— Я это предвидела, — сказала она. — Восточная пылкость и торопливость... Подожди и подумай. Не забудет ли он дня через три о своем намерении?

Он не забыл. Как раз через три дня прислал телеграмму. А потом и письмо. Он сообщал, что посоветовался с матерью и что она одобрила его выбор, хоть и не видела меня никогда. Но скоро увидит! Потому что я приеду с Валериком к ним. Навсегда. Жить мы будем вместе с его матерью и сестрами.

— Вот видишь,— сказала Ленуся.— Ты станешь рабыней в их доме. И я не смогу помочь: мы будем слишком далеко друг от друга. Мужчина, который не может жить без матери и советуется с ней по таким вопросам, не будет хорошим мужем. Это старая житейская мудрость... Но она, к несчастью, верна. А матери в таких семьях всегда тиранки. Им поклоняются, словно идолам. Особенно на востоке. Поверь мне: всегда так бывает.

Я не решилась оставить свой дом и Ленусю. И написала об этом Гургену. Еще в нескольких письмах он звал меня, но я не поехала.

Чтобы поставить точку, мы с Ленусей послали Гургену холодный ответ, который был мне самой неприятен. Однако я помнила, что через шесть месяцев он вновь придет со своим проектом. И очень ждала.

Он не приехал. Сказали, что болен. Но я знала: он не приехал из-за меня.

Его проект привезла какая-то женщина. «Она прелесть! — визжали чертежницы. — Просто очарование!..»

«Неужели так быстро женился? — подумала я. — Ленуся всегда права...»

Я пошла в проектный отдел. И увидела эту женщину. «Нет, не жена... — успокоилась я. — Должно быть, сотрудница из их института».

Она была из тех женщин, к которым сразу испытываешь доверие. Даже чрезмерное... словно к врачу, когда тебе плохо. Лицо, доброе и бесхитростное, располагало к откровенности и тех, кто вовсе ее не знал. Она всех угощала фруктами. И всех приглашала к себе отдыхать: у нее маленький домик. Но не просто так приглашала, не из приличия, а всем, кто хотел, давала свой адрес. «Напишите месяца за два, — говорила она, — чтобы я смогла подготовиться». Девчонки-чертежницы, обожающие отдыхать «дикарями», записывали ее адрес в маленькие блокнотики.

А старому инженеру, страдавшему язвой, она обещала прислать удивительную траву, которая его непременно излечит. Инженер, измученный болезнью и медицинскими советами, которые ему предлагали со всех сторон, всегда желчный и недовер-

чивый, дал ей свой адрес, потому что не сомневался: она пришлет эту траву. И никто в этом не сомневался...

К начальству она не пошла: «Не умею с ним разговаривать». Попросила меня и чертежниц передать директору кальки и ватманы. И расписку с нас не взяла. Прямо так и оставила.

— Кто эта женщина? — спросила я.

— Мать Гургена. Того самого, который всем восторгался.

— Не может быть... — сказала я.

Все удивленно переглянулись.

Так вот какая она! Идол, тиранка...

И все-таки я ни о чем не жалею! Нет, ни о чем. Разве это не счастье: всю жизнь посвятить одному человеку? Сыну, Валерику... А теперь еще и Тамаре, дочери... Им обоим! Мы всегда будем вместе. Нет, я ни о чем не жалею.

Слава богу, идут! Не торопятся, разговаривают... А я представляла себе всякие ужасы. Почему мозг всегда работает в одном направлении?

На цыпочках прошли к себе, зажгли настольную лампу. Решено: подарю им люстру. Ленуся поможет мне выбрать...

Тамаре неизвестно, что у нас фанерная перегородка, и говорит она почти в полный голос.

— Тише, — просит ее Валерик, — маму разбудишь.

Прекрасно знает, что я не сплю! Ни разу в жизни я не заснула, не дождавшись его. Почему же он ее останавливает?

Тамара заговорила потише. Но я зачем-то все слышу. Валерик об этом не знает и больше не останавливает Тамару.

— Мы с тобой все-таки ни о чем не договорились. Два с половиной часа слонялись по улицам, но ничего не решили, — говорит она.

— Разве мы не успеем решить потом?

— У тебя прекрасная мать. Я к ней так привязалась! Как к родной... Но именно для того, чтоб эти чувства к ней сохранить, нам надо будет разъехаться. К родителям лучше всего ходить в гости. Тогда дружеские отношения сохраняются навсегда. Это же всем известно... Сначала будем снимать комнату, а потом построим свою. Когда сможем. Согласен?

Сын молчит. Может быть, я не слышу? Нет, я бы услышала. Он молчит.

— Значит, договорились? — спрашивает Тамара. — Так будет лучше для нас всех. Жить надо отдельно. Это старая истина.

О житейская мудрость! Откуда ты знала, что мы с Колей не сможем быть счастливы! И про Гургена... И остальное... Всё-то

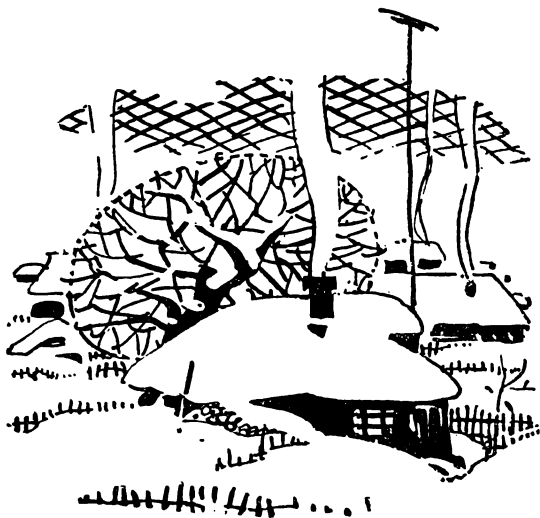
ты торопишься. И твердишь: «Всегда так бывает... Старая истина...»

Но ведь бывает по-разному. Это тебе не приходит на ум? Так ли уж ты мудра, житейская мудрость? Ты очень жестока. Это мне ясно.

Нет, я не права! Конечно, им лучше будет вдвоем. Но только зачем же снимать комнату? А потом строить? Влезать в долги? Теперь я знаю... Теперь точно знаю, что им подарить! После свадьбы я уеду к сестре, за сто километров отсюда. И буду ездить к ним в гости. И они будут ездить... Зачем же снимать комнату? Я просто уеду.

Но как сделать, чтоб они не обиделись? И не поняли, что я слышала? Как все уладить с работой? Это не так легко.

Может быть, посоветоваться с Ленусей?.



СОДЕРЖАНИЕ

<i>Об авторе этой книги</i>	3
---------------------------------------	---

П О В Е С Т И

Поздний ребенок	5
Мой брат играет на кларнете. (<i>Из дневника девочки</i>)	59
А тем временем где-то...	91

Р А С С К А З Ы

«Подумаешь, птицы!..»	129
Я ничего не сказал... (<i>Из дневника мальчишки</i>)	139
Неправда	157
Ночь перед свадьбой	165

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы
об этой книге присылать по
адресу: Москва, А-47, ул.
Горького, 43. Дом детской
книжки.

●

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Алексин Анатолий Георгиевич

МОЙ БРАТ ИГРАЕТ НА КЛАРИНЕТЕ

Повести и рассказы

●

Ответственный редактор

Е. М. Подкопаева.

Художественный редактор

В. А. Горячева.

Технический редактор

Т. Д. Юрханова.

Корректоры

Т. П. Лейзерович

и В. Л. Непомнящая.

●

Сдано в набор 3-VI 1968 г. Подписано
к печати 6/VIII 1968 г. Формат 60×84¹/₁₆.
Печ. л. 11. Усл. печ. л. 10,26. (Уч.-
изд. л. 9,43). Тираж 150 000 экз. ТП 1968
№ 291. А05749. Цена 49 коп. на бум.
№ 1. Издательство «Детская литерату-
ра». Москва, М. Черкасский пер., 1.
Ордена Трудового Красного Знамени
фабрика «Детская книга» № 1 Росглав-
полиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров РСФСР. Москва,
Сушевский вал, 49. Заказ № 2642.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“

В 1968 году для детей старшего возраста выйдут книги:

Прилежаева М. • ТРИ НЕДЕЛИ ПОКОЯ.

В книге рассказывается о трехнедельном периоде жизни Ленина после ссылки в Шушенское и перед отъездом в Германию

Маяковская Л. • О ВЛАДИМИРЕ МАЯКОВСКОМ.

Взволнованный рассказ сестры поэта о жизни и творчестве Вл. Маяковского

Горчаков О. • ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ. ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ.

Документальные повести о героине Великой Отечественной войны комсомолке Анне Морозовой, которая руководила интернациональным подпольем в Сеще, на родной земле, а затем вела разведку на территории врага, в районе главной ставки Гитлера

Кальма Н. • КНИЖНАЯ ЛАВКА БЛИЗ ПЛОЩАДИ ЭТУАЛЬ. ВЕРНЕЙСКИЕ ГРАЧИ.

Повести о послевоенной Франции, о судьбе участников Сопротивления и их детей

Сахнин А. • ТУЧИ НА РАССВЕТЕ.

В центре романа — полная драматизма и трагических событий жизнь корейской крестьянской семьи в годы японского владычества и американской оккупации

Мухина-Петринская В. • КОРАБЛИ САНДИ.

Роман о двух неразлучных друзьях, для которых главное — быть честным, равнодушным в жизни. Роман о любви и верности, о сбывшихся мечтах

Артюхова Н. • МАМА.

Повесть о молодой учительнице и молодой матери. Героиня знакома читателям по книге «Светлана»

Эти книги по мере выхода их в свет можно приобрести в магазинах Книготорга и потребительской кооперации. Книги также высылаются по почте наложенным платежом отделом «Книга — почтой» областных, краевых и республиканских книготоргов.

49 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»